Военное детство

В. САФОНОВ

ЗЕМЛЯНКА



Землянка

Валентин Иванович Сафонов

Аннотация
Валентин Сафонов. Землянка
Пролог
Утро
Полдень
Вечер
От автора

Аннотация

Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на годы Великой Отечественной войны. Маленький Юра с родителями, сестрой и братьями оказался в оккупации. Один полный день жизни семьи Гагариных описан в этой повести. Он вмещает горе и радость, страх и надежду, жизнь и смерть – и веру в победу над фашистами.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для среднего школьного возраста.

Валентин Сафонов
Землянка

Серия «Военное детство»
Серийное оформление О. Рытман

© Сафонов В. И., наследники, 1982
© Бугай В. Ф., рисунки, 1982–2019
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2019

* * *



1941–1945

К 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне



…Теперь уже и не вспомнить с достоверностью, до мелочей чтобы… Всякий новый день на вчерашний походил, ничем не радовал, только горя прибавлял. Что запамятовала если, утратила – не главное было, не жгло.
Главного до конца дней не забудешь…

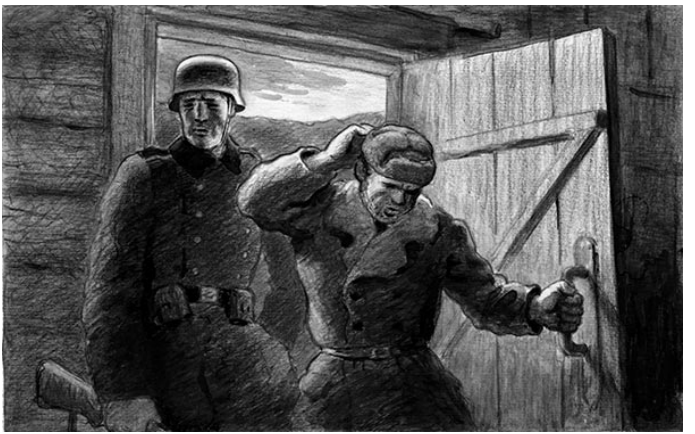
Из сказанного матерью в беседе

Пролог

Теперь, если и очень напрягать память, невозможно восстановить в мельчайших подробностях события того дня. Так много лет прошло с тех пор. Но и то правда: все пятьсот пятьдесят дней фашистской оккупации, пережитые селом, были похожи друг на друга. Так походят друг на друга унылые деревянные кресты на забытом погосте или обгорелые печные трубы на пепелищах.

Утро того дня, как и всех других, начиналось в строгом соответствии с нормами Neue Ordnung — «нового порядка».

Утро



I

Сперва четыре тени — одна за другой — полосами легли на крохотное оконце, врезанное в покатую крышу землянки. И тут же исчезли. Тени — от ног. Там, наверху, прошли двое.

Затем постучали в дверь.

Мать выгребала из настывшей печки золу. Заслышав стук, отставила совок в сторону, с на-

деждой шагнула к двери:

— Валентин это! Вернулся.

Ворох заношенных шубеек, затасканных одеял и дерюжных подстилок на деревянных нарах пришел в движение. Отец, сидя, натягивал штаны. Качнул головой, сомневаясь:

— Не Валька — другой кто-то. Там не один прошел. И колошматят вон как — не по-нашему… Я сам, сам отворю, — крикнул он, и мать подчинилась с неохотой — отступила к холодной печке, прижалась к ней спиной.

Застучали нетерпеливей, яростно. Из поперечины, перетянувшей хлипкую дверь, выскочил гвоздь, со скрипом выгнулась тесина.

— Иду! — поднялся отец и, глуша голос, объяснил: — Прикладом долбят, ироды.

Прихрамывая, заспешил к двери. На ходу тянул руки к вороту, норовя застегнуть рубаху. Пуговица никак не попадала в петлю, вырывалась из пальцев. Отец выругался шепотом и ударом кулака выбил щеколду. Попятился.

Дверь распахнулась настежь. Холод синей волной подкатил к нарам, ожег лежавших на них детей. И тотчас три всклокоченные головы поднялись над семейной постелью, три пары глаз уставились в дверной проем.

Мать ждала у печки — брюхатого камелька, сложенного из серых камней. Поверх холстинной ночной рубахи набросила она первое, что подвернулось под руку на нарах. А подвернулось короткое детское пальтишко. И теперь она силилась запахнуть на груди его полы и не сводила напряженного, немигающего взгляда с входящих в землянку.

Первым переступил порог Тишка Сумятин, староста. Посторонился, давая место немецкому солдату, нехотя стащил с головы треух. Солдат, высокий ростом, со шрамом на переносице и следами ожогов на щеках, прислонился к дверной раме, поставил винтовку перед собой — кованым прикладом на земляной пол, левую руку в карман шинели опустил, правой винтовку за дуло придерживал.

— Дверь прикрой, — сказал ему отец.

Солдат и бровью не повел. Пальцы на его руке были опоясаны перстнями и кольцами, лишь большой и указательный сиротливо белели на черном металле ствола.

«Не успел еще награбить, чтобы всю пятерню прикрыть, — подумала мать. И вдруг догадалась: — Да ведь это — чтобы стрелять без промаха, так ему на крючок давить способней».

Сумятин обвел взглядом стены землянки, обшитые горбылем и плашками. Не найдя иконы, покачал головой и водрузил треух на лысину. Кивнул в сторону ребят:

— Вишь, галчата, вылупили зенки, а? Спали б себе, сопели во все дырки. Сон — он чем хорош? Забот мы не ведаем во сне.

— Чего пришли? — спросил отец. На бритой голове его крупно выступили капли пота, губы дрожали.

«Напугался, — решила мать. — Господи, зачем это их спозаранку принесло? Не с добром…»

— За тобой пришли, хозяин. В момент собирайся. Приказано к господину коменданту явиться. А коли приказано…

Сумятин выразительно вздохнул, покосился на солдата, всем видом своим давая понять, что уж он-то в этой истории ни при чем, что есть над ним высшая власть в лице коменданта немецкого гарнизона и что распоряжения этой власти вынужден он исполнять. Рад бы, мол, и дать вам поблажку, пройти мимо, не заметив, да вот и ко мне сто́рожа с винтовкой приставили, всякий мой шаг стережет.

— Как собираться-то? С вещами? Без вещей?

Голос отца звучал глухо, надтреснуто. Достал

отец из кармана замусоленный кисет и сложенный многократно газетный листок, но цигарку крутить не стал — боялся махорку рассыпать. Ненужно вертел кисет в руках.

На плоском лице Сумятина, похожем на обкатанный ветром придорожный булыжник, заиграла обиженная улыбка.

— Да ты что, с пересыпу, что ли? Вишь, чего выдумал: с вещами! На работу хорошую господин комендант определить тебя хочут. И сам сыт будешь, и детишки — галчата эти вот лупоглазые — с голоду не попухнут.

— Какая еще работа? Что за работа?

— А мне, к примеру, сказывать не велено. Там — в комендатуре, значица, — и узнаешь. Там тебе всё расскажут и покажут.

Мать шагнула от печки, встала перед Сумятиным, собой отгородив от него землянку, детей, отца.

— Врешь, староста. Сына вот так забрали — без вещей Валентин ушел, тоже, плели, на день. Трое дён ни слуху ни духу. Где сын?

Сумятин потупил глаза:

— С обозом их проводили, не один твой пошел. И не токмо ребята — девки, к примеру, тоже. Доведут обоз до места — возвернутся.

— Врешь ты все, Тишка, про сына-то. Врешь! И глаза свои бесстыжие не прячь. За отцом вот пришел… Хворый у нас отец, тифом переболел. Не оправился еще, не окреп. Куда ему работать? А может, ты и его в дорогу какую, снарядить придумал? А, Тишка?

— Был Тишка да весь вышел. Господин Сумятин я, — с улыбочкой напомнил староста. И не поймешь: то ли шутит, то ли всерьез за непочтение к себе осерчал.

— А мне не легче оттого, кто соврет: Тишка Сумятин или господин Сумятин.

— Ладно, не с тобой разговор.

Староста протянул к ней руку, желая отодвинуть в сторону, в лицо увидеть отца. Мать брезгливо отступила на шаг.

— Не пущу, — сказала она. — Всей семьей пойдем к коменданту. Хворый отец, больной.

— Ладно… — Отец набросил на плечи телогрейку. — Ладно, мать, авось…

— Не пущу одного, все вместе… Собирайтесь, ребята, чего смотрите?!

И тотчас как ветром сдуло ребят с нар: двое мальчишек и девочка-подросток с криком вцепились в отца, цеплялись за рукава, за полы телогрейки, за штанины.

Солдат подался вперед, уставился на девочку. Бретелька ночной сорочки соскользнула с ее хрупкого плеча, голубая лента, вплетенная в светлую косу, металась между незащищенных лопаток.

Была девочка старше братьев, в свои четырнадцать лет сложена крепко и надежно, только вот очень худа и бледна.

— Зойка! — прикрикнула мать, запахивая пальтишко на груди.

И девочка поняла ее, разомкнула руки на шее отца, метнулась на нары, под одеяло.

— Цыц вы все! — рассвирепел отец, униженный плачем детей. — Рано отпеваете.

Он стряхнул с себя мальчишек, хромая, шагнул к порогу. Обернулся:

— Хватит причитать, авось обойдется. Бог не выдаст — свинья не съест. А слезой их не прошибешь, им жалость неведома. Вишь, холоду напустили сколько — всё жилье выстудили… Ты, мать, того… детей береги. Обросли вон как, облохматели. Ужо вечером обкорнаю им лохмы-то…

Пропустил перед собой старосту, остановился, дожидаясь, когда выйдет солдат. А тот вдруг подошел к матери, схватил ее за кисть правой руки и рывком поднял руку вверх, к своим глубоко

посаженным глазам. Тускло блеснуло на пальце узенькое серебряное кольцо — обручальное, стертое за двадцать лет ношения.



— Шлехт, — с неудовлетворением изрек солдат. — Зер шлехт.

И отпустил руку матери: не понравилось ему кольцо.

Пригнул голову, боясь удариться о дверной косяк, убрался за порог. За ним, не оглядываясь, и отец ушел.

«Господи боже мой! Что же это на белом свете деется? — затосковала мать. — Незваные, приходят в наш дом чужие люди, распоряжаются как хотят, грозят оружием…»

«Лишь бы отец сдержался — не вспылил там, в комендатуре, — жгла беспокойная мысль. Вспомнилось некстати, как — давненько, в парнях еще — хаживал он на кула́чки, с самыми заядлыми драчунами отчаянно бился. Из-за нее. — Порох ведь! Взорвется, пойдет поперек — не сносить ему головы…»

Мальчишки, тощие оба, голые по пояс, стояли босиком на земляном полу, дрожали, перезябнув.

— Хватит кукситься, — рассердилась мать, потирая запястье. — Вражина треклятая, как клещами ухватил… Одевайтесь. Живо, не то простуды наберетесь. Вон, мурашки-то по коже… И бегите за соломой. Печку затапливать будем,

завтрак готовить.

Она подошла к оконцу, припала к стеклу. Малозаметные тени полосками легли на ее лицо. Тени — от ног. Три человека прошли мимо землянки. Уходят чужие люди, уводят отца.

Тихо выскользнули за дверь мальчишки. Приносить солому на растопку было их каждодневной обязанностью. Послаблений мать не делала: чтобы выжить в лютой стуже, при постоянном голоде, надо двигаться.

II

От печки мать отошла, вытирая слезы на глазах. Солома, принесенная ребятами со двора, смерзлась, гремела спекшимися на ней льдышками, и они, льдышки, упорно не хотели таять в выстуженной печке. Долго не разгоралась солома, измучилась с нею мать, а потом вдруг выстрелил камелек сизым дымным клубом. Дым вышиб из глаз слезы и забил — от пола до крыши — всю землянку.

Снова нужно отворять дверь на улицу. Но уже горел-потрескивал в каменной печке жаркий огонек, суля тепло и скорый завтрак.

Столбик белесого дыма над жестяной трубой привел в землянку Анну Григорьевну, дальнюю

родственницу отца, по-семейному — бабу Нюшу. Тихо стала она в дверях, перекрестилась и, пока незрячие с уличного света глаза привыкали к сумраку, не решалась сделать шага вперед.

«Как всегда, к завтраку», — с досадой подумала мать, прикидывая, что от горячей сковородной пышки придется отрывать совсем не лишний кусок. От ребят отрывать… И тут же устыдилась своей нечаянной жадности, пригласила:

— Проходи, сватья, садись. В ногах, говорят, правды нет.

— Спасибо на добром слове, девка. Сяду я, к теплу поближе сяду. Весна на дворе, а намерзлась за ночь — душа заледенела.

Бабе Нюше, выселенной из своей избы немецкими солдатами, не под силу было построить землянку. Спасалась она в старой картофельной яме. Осенью, до холодов еще, сколотил отец над ямой ящик из бросовых досок, промазал его глиной, засыпал опавшей листвой и землей. Печку в таком жилище не поставишь, костерок запалить никакой возможности нет. Натаскала баба Нюша в звериную свою нору тряпья да соломы, слепила кое-какое гнездо, а как от лютых холодов сберeглась, как стылую зиму пережила — одной ей ведомо. Не раз и не два звала ее мать пересе-

литься в землянку, но Анна Григорьевна упрямо отказывалась. «Вам самим-то прожить под силу ли, а куда ж еще лишний рот? — приводила она свои доводы. — Вот как станется такое, что не приду к вам утречком, не проведаю, так знайте: замерзла я аль померла… Отмаялась… Хороните с легким сердцем: без надобности я и Богу, и людям. В этой яме и хороните».

Волоком подтащив табурет к печке, баба Нюша пристроила на нем свое небольшое, исхудалое тело, уткнула острые колени в горячие серые камни. Розовые отсветы пламени из-за плохо прикрытой дверцы падали на ее желтый, пергаментный лик, на заостренный нос, и походила старуха на вылепленную из глины, никому не нужную птицу-игрушку.

В прежние-то времена, до войны еще, до того, как немцам в село прийти, не переступала баба Нюша порога их избы без гостинцев для ребят. То пестрые конфеты, похожие на подушечки, принесет в узелке, то яйца, в луковой шелухе варенные и оттого коричневые, а то и просто по огурцу на брата. Пупырчатые, нежные, с грядки в своем огороде сорванные… Еще запомнились ребятам помидоры — сочные, с розовой мякотью, и тугая редиска. Мальчишки всегда шумно радовались

приходу бабы Нюши, спрашивали: «Ты чего нам принесла?», скучали, если долго не заглядывала.

А сейчас они лежали на нарах, одетые в домашней вязки шерстяные свитерки и штаны из «чертовой кожи», поверх тряпья лежали, вплотную к печке. Грели босые ноги. Молчали. Да и чего шуметь-то? Баба Нюша теперь по многу раз на дню заходит, а все без толку — пустая все, без гостинцев. И в такой час попасть норовит, когда они за стол садятся… Только Зоя, не выдержав ожидания, шуршала в своем темном углу. Одевалась, причесывалась.

Забулькал на камельке чайник. Горьковато и вкусно пахну́ло от сковородки.

— Ну вот, придвигайтесь все к столу, будем завтракать, — пригласила мать, переворачивая пышку на сковороде.

Упрашивать мальчишек не надо было — мигом скатились с нар, уселись вокруг стола.

Баба Нюша попросила:

— Ты уж, девка, сделай милость, сюда мне подай. Не обессудь. Заледенела я — никак не отойду. И где, удивительно, муку́ ты сберегла? Пирогом вот хочешь побаловать…

— Какой там пирог, какая мука́! — отмахнулась мать. — О́труби на четверть, на три — картошка

мерзлая, толченая. Ребята вон вчера на огороде собирали, подтаяло где…

Зоя подошла к столу медленно, не желая словно бы, села рядом с братьями. Коса вокруг головы венцом уложена, а мальчишки — по плечо Зое. В повадках ее, в поведении так заметно обозначался переход от девчоночьей угловатости к близкой взрослости, к плавности и неторопливости в движениях, что каждый день прибавлялось у матери тревог.

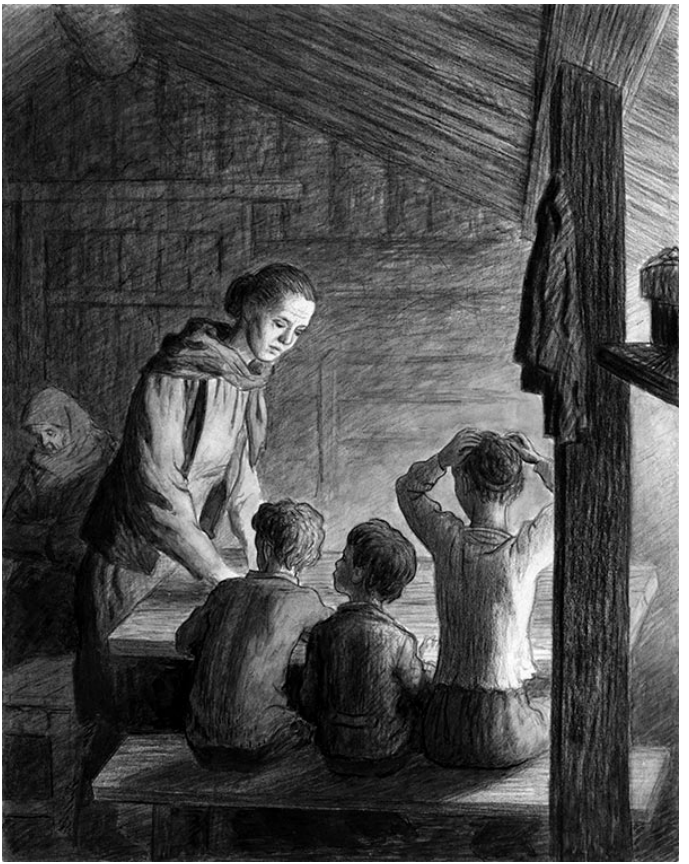
«Скоро заневестится, — переживала она. — Некстати… Лучше б уж дурнушкой росла, лучше б уж совсем неприметной, чтоб в глаза не бросаться…»

Так нет, наперекор войне, материнским тревогам вопреки, из невзрачного совсем недавно, диковатого существа с мальчишечьими повадками становилась дочь красавицей. «Гляди-ка, — заметил вчера отец. — Зойка тебя повторяет. Точь-в-точь такая, как ты в девках была… Будет ребятам присуха». — «Чему радуешься? — возразила мать. — Не те времена нынче, чтобы красоте радоваться. Женихи-то — где они? Которые в армии сражаются, может, и головы уже сложили, которых — того хуже — в Германию угнали, в неволю. Одни гадюки зеленые вокруг…» А сей-

час подумала, что вот собирается отец вечером остричь мальчишек — надо и Зойку заставить косу обрезать. Хоть и жаль, зато красоты поубавится.

Обжигая пальцы, мать ломала пышку на шесть кусков. На ребят не смотрела — и без того знала, что все прикованно вцепились взглядами в каждое ее движение и будут ревниво следить до тех пор, пока всяк свой кусок не получит в руки. Старалась, чтобы поровну выходило, без обиды.

Разлила по жестяным консервным банкам горячий кипяток, заваренный сухим липовым цветом.



Ели угрюмо, сосредоточенно, и было какое-то странное несоответствие между постоянным чувством голода, которое носили они в себе много дней подряд, и этой замедленной сосредоточенностью.

— Борька, — подстегнула мать самого младшего, — ты чего так долго жуешь? Зубы болят?

— А если я раньше Юрки съем? Тогда что — в рот ему смотреть?

Мать вздохнула.

Кусок пышки — доля отца, его завтрак — нетронутым остывал на столе.

— Ой! — вскрикнула Зоя.

— Ты чего?

— Юрка щиплется.

— Вдарь по рукам.

Юрка смиренно опустил глаза к столу, только мочки оттопыренных ушей порозовели.

— Я нечаянно…

— Сыт, вот и воюешь, — рассудила мать. — Поели, братцы? Ну-ка, марш на улицу оба! Да от дома далеко не отходите. И этому… Альберту… черту безрогому… на глаза не лезьте.

— Юра, внучок, — позвала баба Нюша, — я вам тут принесла чего-тось.

Она долго рылась в многочисленных склад-

ках своей юбки, приговаривала, что вот, мол, запропастилась безделица и памяти уже нет — вспомнить, куда второпях положила ее, зажила бабка память. А ведь было ж время — Псалтырь от доски до доски помнила. Ребята стояли перед ней на цыпочках, выжидательно тянули шеи.

— Ура! Стекло! Зажигательное! — закричал Юра, схватив наконец с бабкиной ладони выпуклую линзу.

Борька немедленно обиделся:

— А мне? Всё ему и ему, а мне?

— Обоим, внучок, обоим. Возле ямы своей нашла.

Юрка уже не слышал ее — стремглав выскочил за дверь. И Борис, делать нечего, побежал следом.

Зоя тоже вышла из-за стола.

— Я к Беловым сбегаю, может, чего новенького узнаю.

Мать открыла дверь, поднялась по ступенькам наверх, огляделась. За калиткой было тихо, безлюдно. В их избе патефон с хрипом орал гортанную песню — Альберт с утра веселился. Через дорогу, у Беловых, курился дымок над землянкой.

— Ступай, дочка, — разрешила мать, закрывая

за собой дверь. — Только ненадолго, не задерживайся.

— Приду — не пропаду. — Зоя на прощанье чмокнула ее в щеку.

Теперь они остались в землянке вдвоем: мать и баба Нюша. Старуха поднялась с табурета, шаркая подошвами разбитых валенок, подошла к столу. Подслеповато уставилась на тощий — он уже парко́м изошел, опал — кусок пышки.

— Чего я, девка, вспомнила вдруг… Отец-то где же? Неужто сыт, к столу не явился?

Мать взяла кусок со стола, заворачивая его в полотенце, повернулась к бабе Нюше спиной.

— К коменданту его позвали. Тишка Сумятин приходил да еще солдат ихний с ним. Позавтракать не успел.

— А-а-а, вона, — протянула старуха.

Долгие годы прожитой на земле жизни сделали ее равнодушной к чужим горестям.

— Вот еще, — припомнила она ненароком, — болтают на селе… Слыхала небось? На обоз немецкий партизаны за Пречистым напали. Многих немцев поклали. И наших, которые за ездовых были, тоже.

Полотенце с пышкой выпало из рук матери, мягко шлепнулось на пол.

— А Валентин? С Валентином-то чего? Знаешь? Не томи — говори сразу.

— Многих, болтают, поклали... Пойду я, девка. За хлеб-соль благодарение тебе.

Баба Нюша потопталась на пороге, привычно ожидая приглашения к обеду.

Мать отрешенно сидела на табуретке, не видя ее. Старушка задумчиво посмотрела на сверток на полу, но поднимать не стала. Уходя, негромко вздохнула:

— Сомлела девка. А может, он и жив, Валентин-то. Всяко ведь языками мелют, кому что на ум падет... Не слышит! Дверь-то, поди, не надо затворять, пусть ветерком продует.

III

Холод гонял мурашки по ногам.

А землянку мягко наполняла дивная, небывалая музыка. Откуда-то издалека приходила она, полузабытая, нездешняя. Живой разговор весенних ручьев можно было разобрать в ней, легкий звон бубенцов, с которыми по вечерам возвращалось в село стадо, сочную тишину близкой ночи.

Да еще сквозь музыку ходики выговаривали замедленно: туп-туп, туп-туп...

Мать удивилась тому, что так отчетливо слы-

шит их перестук. Ведь в избе они остались, те ходики, и давным-давно отсчитывают время не для них — для Альберта. Рыжий Альберт занял дом под жилье для себя, под мастерскую: хозяевам и на порог вход заказан. А вот поди ж ты — стучат себе ходики, и слышит их она: туп-туп, туп-туп…

Только больно медленно стучат, будто каждая минута в час растянулась.

А ногам холодно — спасу нет.

— Отец, — позвала, — дверь притвори. Расхлебенили дверь-то.

Отец не откликнулся. Молчун — он и есть молчун. За всю жизнь трех слов не связал, а с тех пор, как немцы в село пришли, и вовсе рот на замок. Не откликнулся отец, но дверью, послышалось, хлопнул сердито.

Теплее не стало: холод, путаясь в складках платья, все гонял мурашки по ногам, пробирал до костей.

— Отец, — позвала она снова и, не услышав ответа, с трудом раскрыла глаза.

Тотчас, одно за другим, стали на место, обрели реальность все события сегодняшнего утра.

Отец не откликался, потому что нет его в землянке. Пришел на рассвете староста Тишка Сумятин и увел отца в комендатуру.

Музыка — она от Альберта. Патефон крутит. Альберт чаще другие пластинки ставит — они грохочут так, словно кто-то бочку железную по булыжнику перекатывает или в кованых сапогах по крыше бежит. Но если такую вот завел, грустную и красивую, — значит, запсиховал немец, по дому тоскует. И уж теперь лучше поостеречься, не попадаться ему на глаза, не то быть беде…

Ветер в щель между косяком и дверью замахивает. Баба Нюша уходила и, по немощи своей, не прикрыла дверь плотно.

Неясно только, как ходики она расслышала. Далеко ведь они, ходики-то. А стучали, стучали: туп-туп, туп-туп…

Мать поднялась с табурета, чтобы кликнуть ребят и дверь прикрыть, сделала шаг и — снова на табурет вернулась. Ноги не удержали ее, страшной болью захватило сердце.

«Так вот оно что, — поняла мать. — Причудились ходики… Сердце свое я слышала».

Поняла и перепугалась. Не боли, другого: хватит ли у ее сердца силы ненастье пережить, дождаться, когда немчуру из села прогонят? Приключись с ней что — вся семья потеряется…

Во второй раз на нее злая напасть обрушилась. Первый приступ случился семь месяцев назад, в

тот день, когда Альберт освобождал для себя их избу. Проще говоря, выгонял их на улицу… Тогда она укладывала в узел простыни да полотенца — все то, что на скорую руку прихватить можно. Отец, Валентин и Зоя были во дворе — вымеряли место под землянку. А Юрка с Борькой, дожидаясь ее, затеяли возню в сенях.

Укладывала она узел, прислушивалась к ребячьим голосам за дверью, а рыжий плечистый Альберт вокруг да около ходил, как — прости, Господи! — пес, на цепи привязанный. Юрке, видать, любопытно было на немца поглазеть, время от времени отворял он дверь, просовывал в избу свой вздернутый носишко. Мать шикала на него. Альберт незлобиво усмехался, а сам следил за ней. Протянула руку за подушкой — вырвал подушку, снова на постель швырнул. Поняла: сам на подушке спать желает. Пуховая подушка, мягкая, в девичестве еще приданое собирала… Хотела в замешательстве ходики со стены снять. Древние ходики, от матушки покойной остались. Зеленый попугай на циферблате от старости почернел, рядом с гирькой для точности хода глиняная свистулька подвешена — когда-то мальчишки у тряпичника выменяли. Зачем немцу такая рухлядь? Ан нет, пальцем Альберт погрозил: не

смей, мол.

Тут Юрка снова дверь открыл:

— Ма, Борька на двор просится.

— Сведи, — сказала тихо.

Альберту, должно, прискучило сторожить бабу. Вышел в сени. И только вышел — резануло тишину вскриком ребячьим, и тут же оборвался вскрик, и хлопнуло два раза — гулко и раскатисто. Выскочила она в сени — в спину Альберту уткнулась: ноги расставил, пистолет в руке держит. А ребята прилипли к стене, ни живы ни мертвы оба, обомлели, и над русыми головенками их-ними — две аккуратные дырочки в шершавой доске. Пыльные солнечные лучики сквозь них пробиваются.

Схватила она мальчишек за руки и скатилась вместе с ними с крыльца. Пропади пропадом все добро!..

Тогда, во дворе, и упала злая боль на сердце… В первый раз за все тридцать восемь прожитых на белом свете лет.

А сейчас-то с чего же подеялось?

«Валька… — припомнила. — Про обоз сватья говорила, про то, что побили партизаны многих… А Валентина за что же? Не своей волей с ними пошел — заставили. Мальчишка, молоко на губах

не обсохло, семнадцати нет… За что мне му́ка такая?»

Он трудно появлялся на свет, ее первенец, куда трудней, нежели все остальные. На много часов затянулись роды. Повитуха Аграфена Трофимовна, приняв наконец младенца, привычной рукой шлепнула его по голому желтому тельцу. И не услышала в ответ крика. И сама растерялась.

«Ой, девка, — запела, — не жилец парень-то. Хилой, мозглявенький. Шел не головой — плечиком. Помрет…»

Обессиленная, она не сразу поняла повитуху. Мокрая простыня углями жгла ее тело, потолок над головой был необозримо широким и серым, как небо в мокрый осенний день. А за стеной июль стоял, черные мухи роились в раскрытом окне, кружили над постелью.

Но когда, сквозь немилосердную боль и душевную глухоту, уразумела она сказанное повитухой — даже возмутиться не смогла. Прошептала, с трудом разорвав воспаленные губы:

«Как ты можешь говорить такое?»

Аграфена Трофимовна склонилась к ней: рябое лицо в тумане, едва проглядывают плоские, словно бы размытые глаза.

«А ты не серчай, не серчай… Покричишь по

тепленькому, а там и забудешь. Дело молодое…»

Вот тут-то, после таких ее слов, и подал он голос. И с этой минуты целый год не умолкал. Орал днем, орал ночью. Капризничал, не брал грудь. Кормила — мучилась, вконец извелась с ним, зарок давала: чтоб еще одного родить — ни за какие коврижки… Но это потом было, а тут, услышав, как кричит он — на высочайшей ноте, до звенящей боли в ушах, ну чисто заяц-подранок, неожиданно для себя самой засмеялась она:

«Вон какой голосистый…»

«Можеть, очухается, — сомневалась Аграфена Трофимовна. — А не просто ему жизнь достанется. Намаешься ты с ним…»

Как в воду смотрела — накаркала, старая, беду. Может, отца в комендатуру за тем и позвали, чтобы черную весть о Валентине объявить? У Тишки-то глаза бесстыжие вон как бегали, боялся ей правду сказать. А почему тогда солдат с винтовкой приходил? Разве на такой случай одного Тишки мало? Нет, не за тем увели отца. Говорят, за каждую встрепку, которую им партизаны дают, расстреливают немцы ни в чем не повинных мирных жителей. И мужиков, и баб, и малых детей не щадят. Так что же, в заложники отца взяли? Мало им Валентина…

Она снова поднялась с табурета. Надо бежать в комендатуру, надо узнать, что там с отцом сделали. И что с Валентином случилось? Может, хоть тело его разрешат взять для похорон, не оставят волкам на съедение…

Сил хватило лишь на то, чтобы сверток с полу поднять и до порога дойти, поплотнее захлопнуть дверь. Целое утро печь топила, сколько соломы сожгла, а все на ветер.

И Зойки, как на грех, нету, а ведь сказано было: не задерживайся. И ребят во дворе не слышно. То разгайкаются — удержу на них не сыщешь, а тут примолкли.

— К обеду… — сказала она вслух и прислушалась к своему голосу: он слабый был, неуверенный, — к обеду все соберутся. И отец придет, и Зоя, и ребята прилетят. Как же иначе? Вот посижу немного и начну обед готовить.

Музыка там, в избе, стихла: Альберт снял пластинку с патефона. И снова застучало: туп-туп, туп-туп… Но это уже не сердце. И не ходики, конечно. Немец за работу принялся, включил движок: чинит аккумуляторы для машин и танков…

Полдень

I

Когда ступишь за порог землянки — взглядом упрешься в отвесный, неровно обитый лопатой пласт глинозема. Он влажен и оттого темен… Чтобы оказаться во дворе — надо сделать еще пять шагов. Вверх, по пяти глиняным ступенькам с намертво втоптанными в них дощечками. Стоять на самой нижней дощечке, у порога, — в яме стоять. Ничегошеньки не разглядишь отсюда, разве небо над головой.

Сегодня оно синее, омытое дождем. И ни единое облачко не пятнает его чистоты.

Весна.

Со дна ямы, от порога, небо видится бездонным и бескрайним. И чуточку непривычным.

«Как черви дождевые живем. Стало страшно — в землю схоронились», — высказался отец в тот день, когда вселялись они в землянку.

Было это осенью, семь месяцев минуло, как было. Тогда небо пряталось за сплошняком черных туч и ливни каждый день врывались в их жилище, лихо перемахивая все пять глиняных

ступенек. А вот — не думалось, не гадалось — и зиму в землянке пережили, под наваленным на ее крышу снежным сугробом. И гляди-ка, весна пришла. Как ни заледенела душа за зиму — все радостней ей, все теплей. И надежней.

Мать отдышалась, собралась с силами и помаленьку, опасаясь споткнуться, упасть — держала ноги непривычная тяжесть, — помаленьку одолела все ступени наверх.

Вот она, рукой подать, ее изба. Может, двадцать шагов до нее, может, и того меньше. Строились на четвертом году, как в колхоз вступили. Из лесу, с хорошей делянки, возили крепкие смолистые бревна. Отец с прилежностью ошкуривал их, и там, где оставлял топор случайную зазубрину, оплывали бревна желтым прозрачным янтарем. Летнее солнце высушило янтарь, легкостью и прочностью напитало сруб. Звенел топор в отцовых руках, и был отец весел и бесшабашен. Наверно, оттого, что — плотник от самых детских лет, умелец — впервые в жизни ставил он избу себе, своей семье. «Ты, мать, это… поберегись, уйди!» — покрикивал он, когда хваталась она за бревно, желая помочь ему… А до того как сруб поднять, фундамент клали из дикого, самородного камня-валуна. Брали камень в поле, за околицей.

До сих пор лепятся к его шершавым бокам ржавые лишайники. Грудью наваливаясь на лом, отдирал отец приросшие к земле неподъемные булыжники, но виду, что ему трудно, не подавал, только ее придерживал: «Уйди, баба, человека в себе зашибешь… Сам управлюсь».

Была она тогда тяжела Юркой. Он и приспел на новоселье.

И младшего, Бориску, в эту избу из больницы доставила. Только Валентину с Зоей не повезло — принимала их повитуха в старом, развалённом домишке, в том самом, который от свекрови молодым достался. Одно название было — дом, а так — курятник, не этому чета.

Отсюда, от землянки, мать видела только высокое заднее крыльцо и заднюю стену с просторным, в резных наличниках, окном. Лицом своим, с тремя окнами по фасаду, изба — она крайняя в селе, изначальная — глядела на желтую, размытую вешней водой дорогу.

Там, через дорогу, в такой же, как и у них, землянке ютятся Беловы. Оно хорошо видно от калитки, их пристанище, потому что стоит не в ряду других, а на отшибе малость. Черный, приплюснутый, обложенный дерном холмик, перевернутый чугунок с выбитым дном, над ним

труба.

Земля во дворе подсыхала, курилась испариной, и четко рисовалась на ней паутина тропинок. Скатываясь с избяного крыльца, разбегались они в вишенник и смородину, к погребу и калитке в заборе, к воротам. И лишь землянку не вязала тропка с крыльцом. С тех пор как хозяином в избе стал рыжий Альберт, вход туда заказан и матери, и отцу, и ребятам.

Тихо во дворе. Молчит у крыльца движок — черная чугунная машина со множеством медных краников и трубок. Когда Альберт чинит аккумуляторы, заряжает их, движок пыхтит не умолкая и до того входит в раж, что начинает разгневанно подпрыгивать на месте, сердито плюется горячим маслом и кипятком, выбрасывает из трубы клубы грязного дыма. В такие минуты он очень похож на своего хозяина, на Альберта.

Сейчас движок молчит, а на крыльце стоят громадные черные ящики — аккумуляторы… И в окне дома, за синими тюлевыми занавесками — тюль перед самой войной мать купила в сельмаге — никакого движения. Наверно, Альберт отремонтировал эти самые аккумуляторы, вынес их на солнышко и убыл доложить начальству о сделанной работе.

У движка, под самой выхлопной трубой, лежит пучок соломы, прикрытый старой газетой. Какое-то промасленное тряпье рядом в кучу свалено. Мать подивилась неаккуратности немца. И забеспокоилась. Чего это он, однако? Искра упадет — весь дом спалит. Но убрать сама не решилась: он бешеный, Альберт-то, лучше уж тихо показать ему, когда вернется.

А Юрки с Борькой так и не видно. То день-деньской крутятся у забора, а то вовсе с глаз пропали.

Горьковатым ароматом веяло от вишенок: почки на ветвях набухли, вот-вот начнут постреливать. Где-то неподалеку — за сырым и местами заснеженным лугом, который начинается от дороги, да за ближним лесом — бухали орудия. Бухали негромко и неопасно, не нарушая тишины, — будто бы почки на деревьях раскрывались. Там, от села в шести километрах, проходит линия фронта. Пушки каждый день гремят, к ним в селе привыкли.

«Пойду к Беловым, — надумала мать. — Зойку прогоню — засиделась, да может, им известно что… Может, — обожгло страхом, — Зойка о Валентине все разузнала и домой боится идти?»

Ожидание вконец истомило ее. А хуже ожидания — неизвестность, не дает покоя мысль о

Валентине. «Пока сама не увижу — не поверю, что нет его в живых, — твердит она себе. — Сватья и набрешет — недорого возьмет. Только ведь не с потолка же…»

Шаги у нее медленные, неуверенные. А идти нужно. Нинку Белову — она тремя годами старше Зои — тоже взяли в обоз, за ездовую, не посмотрели, что девчонка. В одночасье с Валентином повели их.

Неужто и с ней что?

Она успела дойти до калитки и остановилась, услышав приглушенный разговор за спиной.

— Ушла мама! — не сдерживая радости в голосе, возвестил Бориска.

— Тише ты! Разорался… — прикрикнул на брата Юрка.

Обернулась. Две фигурки вынырнули из-за угла дома, с маху шлепнулись на сырую землю, поползли в кусты смородины. Играют в проклятую войну мальчишки, штаны протирают. Только от матери чего им беречься?

Громко хлопнув калиткой, вышла на дорогу. Шальной ручеек бросился ей под ноги. Мать остановилась, примериваясь, как лучше перешагнуть через него. «Что же это они от меня хоронились? — не давала покоя мысль о ребя-

тах. — Недоброе затеяли, надо поглядеть».

Тихо, без стука вернулась она во двор, обошла избу кругом, задержалась на углу, у крыльца. Сыновья стояли на коленях у движка, спиной к ней, вытянув руки, колдовали над пучком соломы, прикрытым грязной газетой. Тонкий лучик прыгал по газетному листу, бумага чернела и коробилась там, где он пробегáл, занималась огнем. Едко — и на расстоянии ощутимо — пахло горящей ватой, дымилось наваленное в кучу тряпье.

Мать охнула, выбежала из-за укрытия.

— Вы чего тут?

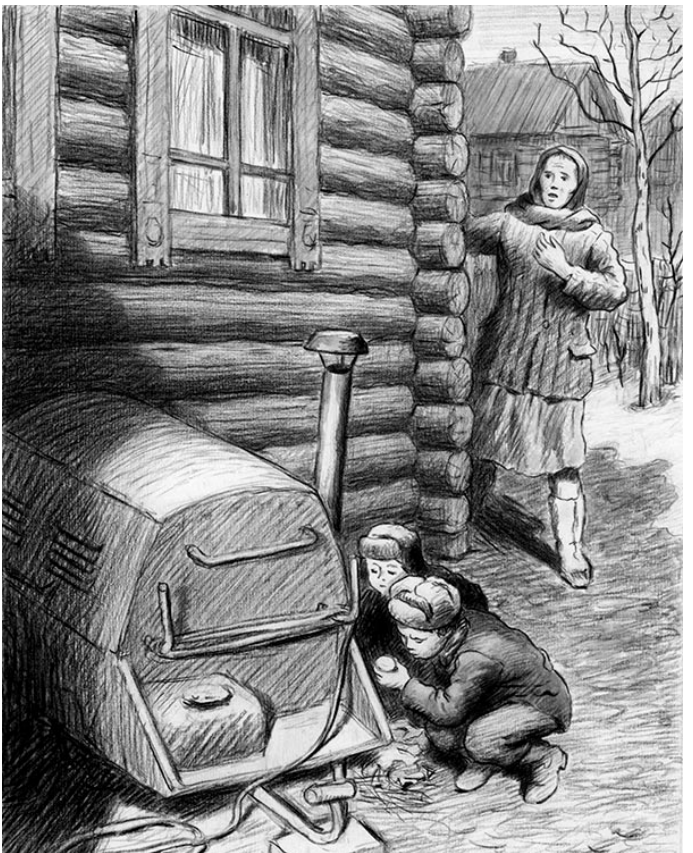
Ребята вздрогнули, вскочили на ноги, готовые задать стрекача. Но, увидев, что это мать, успокоились. Штаны у обоих мокрые, в грязи.

— Мы так… играем… — виновато улыбнулся Юрка. — Мы ничего…

Борис укрылся за спиной старшего брата.

— Мы играем, — подтвердил он серьезно.

— А ну, покажи руку!



Юрка послушно вытянул руку, разжал кулак. На ладони лежал выпуклый кругляш увеличительного стекла.

Мать схватила стекло — оно было теплым, горячим даже. Спрятала в карман телогрейки.

— Господи! Одно к одному. Все несчастья сегодня бабка к нам в дом тащит. На помойку ее, игрушку эту, на помойку!.. Ну-ка, живо бегите домой. Чтоб духу вашего здесь не было! Снимайте с себя всё, что на вас есть. Стирать буду. До исподнего снимайте!

А сама принялась яростно затаптывать тлеющие тряпки. Уходила, остывала боль в ногах. А тряпки никак не хотели гаснуть, тлели, чадили, и уже с одной на другую перелетали синие змейки пламени, острыми языками жалили выхлопную трубу. Тогда мать, обжигая руки, схватила в охапку и тряпье, и солому, и грязный газетный лист, метнулась с ними за землянку, к помойной яме, швырнула все в темную воду, чтобы и следа, намека мелкого на пожар не оставалось. Потом вернулась к движку, быстро и с тщательностью прибрала все, что могло навести на мысль о костре. И копоть на трубе рукавом стерла.

Сходила, назьвается, к соседям, вызнала новости! Да за этими разбойниками глаз и глаз нужен.

Что, если бы не она — если б Альберт, дьявол рыжий, калитку первым открыл?! Подумать страшно…

— Выдеру, как пить дать выдеру. Небо с овчинку покажется, — приговаривала мать.

Ребята голышами сидели на нарах, прятались за полушубками и пальтишками, покорно ожидали своей участи. Скуластые, большеухие, патлатые.

«Воробьи, несмышленыши. Какой с них спрос?» — пожалела она.

Быстро поставила на скамью цинковое корыто, выплеснула в него два ведра воды, побросала туда ребячью одежонку.

— Пусть замокает, — сказала. — А сейчас щелок кипятить будем.

На минуту присела к сыновьям, обхватила их за плечи, притянула к себе.

— Кто вас этой игре научил? — спросила как можно ласковей, шепотом.

Юрка дергался, вертел головой, силясь освободиться от объятий. Борис доверчиво ткнулся губами в ее ухо:

— Валька говорил, что таким стеклом что хочешь поджечь можно.

— Уж я ему! — сорвалось с языка, но, не догово-

рив, мать замолчала.

— Тарахтит и тарахтит, аж уши болят, — говорил Борис, повторяя чьи-то взрослые слова.

За ее спиной Юрка ткнул брата кулаком в бок: мол, болтай, да знай меру.

— Вот придет отец — задаст тебе трепку, — пообещала мать старшему. — Диверсант какой нашелся!.. Юра-Юрка, сынок, ведь большой ты уже. Шутка сказать, девятый год человеку. Я в твои-то годы гусей у кулака пасла. С утра до вечера. А тебе все безделье — стекла эти, железки, стрелялки. Не сносишь головы…

Юрка шмыгнул носом:

— Нет их, гусей-то, фрицы всех постреляли. А когда папа придет?

— Когда-когда… Откуда я знаю.

Заскрипели ворота, тяжелый грузовик въехал во двор. Топали по крыльцу, громко переговаривались и смеялись чему-то солдаты — грузили аккумуляторы на машину. Выделялся голосом Альберт: видать, доволен был, что сдает работу.

II

Пристроив на скамье корыто, стирала мать ребячью одежонку. Негодовала вслух: «Надо ж так изваландаться! Третью воду меняю, а она все

черней черемушки». А про себя понимала, что все равно — уж коль весна нагрянула, и сырость во дворе, и ручьи по дороге бегут, — от грязи спасения не будет.

Мальчишки сидели на нарах, озабоченные тем серьезным и неловким положением, в которое невзначай попали. Им на улицу хотелось — там и солнышко припекает, даже вон в землянке светлей и теплей стало, и можно чурки — деревянные кораблики — пускать по ручью, чтоб плыли далеко-далеко, обгоняя друг друга… И столько еще интересного открывается весной. Стаял снег на взгорке, на том самом месте, где стояла когда-то ветряная мельница, и открылся каждому проходящему старый окоп. Мельницу осенью артиллерийский снаряд сжег, одни каменные жернова остались — обгорелые, потрескавшиеся. Если вечером, когда потемней, шарахнуть по такому жернову железякой — брызнут во все стороны колючие искры… А вокруг окопа, залитого темной водой, видимо-невидимо патронов. Боевых, нерасстрелянных. Лежат себе, поблескивают в глине. Собрать бы их сейчас да подсушить на солнце, а потом костер запалить — и в огонь эти самые, нерасстрелянные. Ох и забабахают, расшвыривая жар костра, взвизгивая отлетающими

от гильз пулями.

А еще лучше гранату в костер положить — вот эта жахнет. До самого синего неба пламя подымется, и яма на месте костра будет. Куда глубже, чем старый окоп у мельницы, чем даже их землянка.

Много интересного на улице весной, только б вот дождаться, когда штаны высохнут. Беда прямо — пересменки никакой нет. Вся одежка в сундуке осталась, а сундук, как в той старой сказке, за семью печатями, у Кощея Бессмертного. В избе, то есть у Альберта. И в избу проклятый Альберт не пускает.

— Да уж, с голой попой, без штанов, не больно поскачете, — насмешливо посочувствовала ребятам мать.

И братья, смущенные, притихли, сообразили, что увлеклись, размечтались вслух, наговорили много такого, чего взрослым знать вовсе не обязательно.

— А я вот нарочно не стану штаны ваши сушить, — поддразнила мать. — Чтоб сидели дома с утра до вечера, не носились по оврагам…

Борька глаза сузил, наморщил нос: сейчас захнычет. Юрку так просто не прошибешь — нахмурился, посмотрел на нее исподлобья:

— А я отцовы надену и удеру. — И толкнул младшего: — Не реви, нарочно это она.

«Все-то ты понимаешь. И вовсе без штанов удрать у тебя не задержится, — согласилась в душе мать. — Упрямство батино, хоть кол на голове теши. Только поречистей ты, и душа нараспашку, доброты в тебе много…»

Сложила на руку мокрое белье, вынесла во двор, развесила на веревке. Во дворе по-прежнему тихо и солнечно было. Распахнутые настежь, чуть покачивались на петлях створки ворот. В глубоких колеях, продавленных грузовиком, накапливалась желтая вода.

Черной тенью, маленькая, сгорбленная, выросла у калитки баба Нюша.

— Ко времени ты, сватья, — обрадовалась мать. — Мне ребят не с кем оставить — шкодят, а надо в комендатуру сбегать. Что-то отца долго нет, не случилось ли чего?.. Так ты погляди за ними.

Старушка подошла ближе, подняла на мать водянистые, невидящие глаза.

— Гадала я, девка, карты раскидывала. Сказали карты, что жив наш Валентин, что миновали его головушку беда и лихо. Три раза на вальта бубён выходило: жив.

— Ой, так ли? Не верится прямо.

— Жив, девка. Мне карты не лгут.

В карты мать не верила, в бабкино умение гадать — и подавно: как это она, незрячая почти, даму от валета отличает? А все же, что там ни говори, затеплилась в душе надежда. Может, сердце-вещун бабе Нюше добрую весть подает? Вот и у нее предчувствие такое: облетела злая пуля Валентина стороной.

— Спасибо на добром слове, сватья. Так ты поди в землянку-то. Ребят покормишь, сама поешь с ними. Картошка в чугунке. А я быстренько, я мигом.

— Жив, — твердила баба Нюша, ковыляя в землянку. — Жив, соколик, жив наш Валентин.

«Жив, — повторяла про себя и мать, перебираясь через дорогу в землянку Беловых. — Нашла сватьюшка повод к обеду приспеть. Да чего ж это я на нее?.. Жив, конечно, жив».

У Беловых было пусто, лишь дед Андрей — в белой холстинной рубахе и белых холстинных портах — дремал на широкой скамье. Сонная муха ползала по его затянутой мохнатой сединой щеке и, видать, ничуть не беспокоила деда. Мать легонько потрясла его за плечо — старик раскрыл глаза, обрадовался живому человеку.

— Ой ли, молодуха!

— Зойка была у вас? — закричала мать: дед Андрей был туговат на ухо.

— Была, как не быть… Ушла, давеча еще ушла.

— А сама-то где, хозяйка-то?

— Шило на мыло меняет. Шубу за картошку понесла… Садись, молодуха, побудь со старым. Бросили меня все, скушно одному. Живу вот, чей-то век заедаю. Давно помереть пора, все мысли передумал, все слова, какие на этом свете есть, переговорил. А все неохота. Помирать-то. Увидеть светлый день желаю, а там — ладно, согласен… Да куда ж ты бежишь-то?

— Некогда мне сегодня, ты уж не серчай.

Будь все по-иному, в другое время — не стала бы она обижать словоохотливого деда. Посидела бы возле, о болезнях его порасспросила, утешила. А ныне — сразу трое с ума не сходят. Зря они утром отца послушали — вместе надо было к коменданту идти. Где одного казнят — семью, может, и помилуют… А Зойка, дуреха такая, ослушница, поди, на дальний конец села наладилась, подружек своих проведать. Дойдет ли, добежит? Солдаты немецкие — они не больно церемонничают, на возраст, на то, что малолетка перед ними, не смотрят. Вон как тот, со шрамом на пе-

реносице, утром глаза липучие пялил. Говорили бабы, что в районном центре, где теперь управа волостная, прямо на улице облаву устроили. Девчушек таких, по пятнадцатому-шестнадцатому годочку, похватали средь бела дня и в товарных вагонах в Германию увезли.

Дорога к комендатуре в гору шла. Занятая горькими мыслями, мать забыла про боль в груди, про тяжесть в ногах, одолела подъем — не заметила.

У комендатуры женщины сбились в толпу. С узелками в руках, одетые в черное, молчаливо переминались с ноги на ногу. Будто на похороны собрались и ждали, когда наконец вынесут покойного из дому, и неприятно-тревожным и необходимым было это затянувшееся ожидание.

— Вы чего тут, бабы? — подошла к ним мать. Увидела Паню — давнюю свою подружку, в девках хороводы вместе водили, ей тот же вопрос задала: — Ты, Пань, чего здесь ждешь-то?

Та взглянула на нее, будто бы впервые увидела, и промолчала в ответ. В уголках ее глаз дрожали слезинки.

Тогда мать поднялась на крыльцо комендатуры. Молоденький часовой в каске чуть наклонил винтовку, загораживая дорогу.

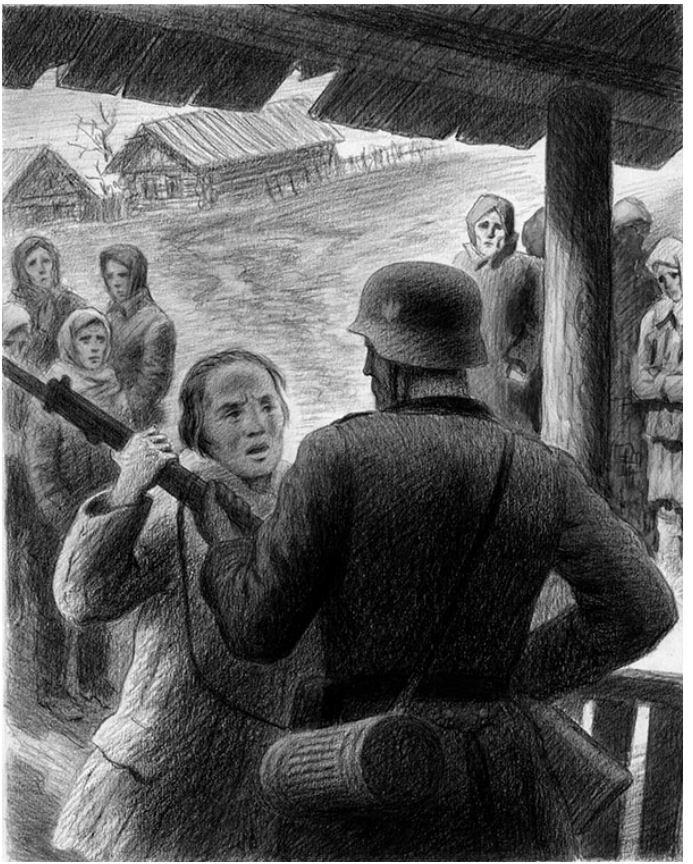
— Пусти, милок, пусти, христа ради, — через

силу, стараясь улыбкой задобрить солдата, попросила мать. — Мне к господину коменданту надобно.

Солдат покачал головой:

— Найн!

— Да пусти ж ты, истукан! — схватилась она за дуло винтовки.



Дернув винтовку к себе, свободной рукой солдат толкнул мать в грудь, и она оскользнулась на мокром крыльце, прокатилась по ступенькам, села в грязь, в лужу. А часовой снова вытянулся в струнку, застыл у двери — серьезный, с красивым неживым лицом фарфоровой куклы и немигающим взглядом. Впрямь истукан истуканом. Хоть бы ухмыльнулся, идол каменный, бесчувственный.

Она поднялась, отряхиваясь, выкрутила подол юбки. Грязная вода насквозь пропитала нижнюю рубаху, шерстяные чулки, стекала за голенища валяных сапог, холодно обжигала тело.

Отчетливо понимая, что делает недозволенное, непростительное, мать снова шагнула на крыльцо, поднялась на одну ступеньку, на другую. Часовой заученно выбросил винтовку вперед, острие плоского штыка ткнулось матери в грудь.

— Цурюк! — крикнул часовой.

— Чего на рожон лезешь? Нешто он понимает? Прибьет и не поморщится, дерьмо зеленое, — со злостью осудил ее, а заодно обругал и часового одинокий бабий голос из толпы, и мать отступилась, отодвинулась от крыльца и от боли, замешалась в толпе, возбужденная, налитая яростью, терзалась вопросом, чего ради они тут

собрались с узелками в руках, кого и чего ждут?

Из-за высокого, в два человеческих роста, забора, примыкавшего к комендатуре, все время доносился глухой, непонятный ей ропот. Но вот отрывисто и зло прозвучала команда, ворота распахнулись, и на улицу, в окружении конвоиров, вышла колонна подростков, почти мальчиков, ровесников ее Валентину.

Бабы взвыли в голос, тесня и отталкивая друг дружку, бросились к колонне. Тянули к ребятам руки, норовили обнять их. Солдаты били по рукам прикладами, падали и под ногами с хрустом растворялись в грязи белые узелки.

И ее затерло, понесло на плечах других, закрутило в этой круговерти. И она тянула руки к подросткам, хотя не было в колонне ее родных, близких.

А потом ее оттеснили, отбросили в сторону, и она осталась на обочине дороги, дула на обожженные ударом приклада пальцы и вдруг — всего на мгновение — встретилась взглядом с безумно расширенными глазами Пани.

— Куда это их?

Показалось, что спросила шепотом, что за этим криком, гамом, воем не расслышала Паня ее голоса.

— В неметчину! — криком ответила Паня. И зарыдала. — Твоего здесь нету, не видать твоего.

«Моему, может, сейчас еще хуже, а может, его и в живых-то уже нету», — хотела сказать она. И не посмела, промолчала. Разве поймет ее Паня в эту минуту? И разве ж есть такая мера, которой можно сравнивать глубину материнского горя?

Краем глаза увидела, как, натягивая на руки белые перчатки, рысцой сбежал с крыльца комендатуры высокий, длинноногий офицер — комендант, как торопливо, низко пригнув голову, садился он в машину. Как суетливо закрывал за ним дверцу староста Тишка Сумятин. И, послушный кивку офицера, тоже плюхнулся на заднее сиденье приземистого легковика. Машина, разбрызгивая грязь, взяла с места.

«Зачем я шла сюда? Как я стану с ним разговаривать? О чем просить? — недоумевала мать, глядя вслед машине. — Без толку все. И не станут они слушать меня. Им дела нет до нашей боли… А Тишка, иуда, выжить хочет. Но погоди, пес, взойдет солнце над нашими воротами».

Колонну погнали под гору, по дороге, которая крутым изгибом лежала возле ее дома. Подростки шли, понурив головы, не глядя по сторонам, не имея сил разорвать тонкую цепочку из зеленых

мундиров и черных автоматов. Впервые в жизни раз и навсегда уходили они от родных изб, в которых выросли, от матерей, которые тащились следом, спотыкаясь, падая, проклиная судьбу, от нестерпимо яркого весеннего солнца, которое нынче не для них зажглось.

Мать тоже брела в толпе женщин и отстала от них, только поравнявшись со своим домом, и задержалась у ворот. Тут из цепочки конвоиров вышло несколько солдат, бестолково замахали руками, показывая женщинам, что дальше им идти нельзя.

— Хоть проститься дайте, ироды, обнять на прощание, — взголосила Паня. — Сынок, кровиночка ты моя, не допускают к тебе!

— Найн, найн, матка! Вег! Цурюк! — тупо покрикивали солдаты, отталкивая женщин.

— Мама, милая, не плачь! Стыдно! Убегу я от них, мама! — крикнули из колонны молодым, хрипловатым баском, и матери послышалось, что это Пани, подруги ее, сын кричит.

Смотреть дальше не хватало сил. Мать прошла во двор, сдвинула за собой створки ворот.

На крыльце, подставив солнцу голую конопатую спину, блаженствовал Альберт. Френч и нижняя рубаха его висели на перилах. В ногах

у Альберта стоял патефон, горкой лежали возле черные пластинки.

Завидев ее, Альберт широко, дружелюбно улыбнулся:

— Матка! Аллес зер гут!

Сложив в кулак пальцы правой руки, вытянул указательный, выбросил руку вперед наподобие пистолета:

— Зер гут, матка! Фатер нет. Бах-бах фатер. Капут!

Она хотела пройти молча, не унижать себя разговором с немцем. Хватит, наговорилась! Но злостью царапнуло душу, и злость оказалась сильнее ее желания. Остановилась.

— Бесстыжие у тебя глаза, немец, — сказала невозмутимо, с ясностью выделяя каждое слово. — И все-то ты врешь. Жив отец, на работу его позвали. Слышишь, жив!

— Но-но!

Альберт залихватски щелкнул пальцами и поставил на диск патефона новую, грохочущую пластинку.

III

Мальчишки спали.

Юрка, по обыкновению, разметался во сне, раз-

бросал руки и ноги. Оттого, наверно, что лежал на спине, а скорее, оттого, что успел прихватить простуду в холодных ручьях, дышал трудно, стесненно.

Борька — тот как всегда: свернулся калачиком, колени к подбородку подтянул, а носом в Юркин бок уткнулся и, судорожным кулачком уцепив одеяло, все тянул, тянул его на себя, норовя даже во сне укрыться с головой. Он зябким был, самый младший в семье, последыш…

Притулившись у холодной печки, дремала баба Нюша.

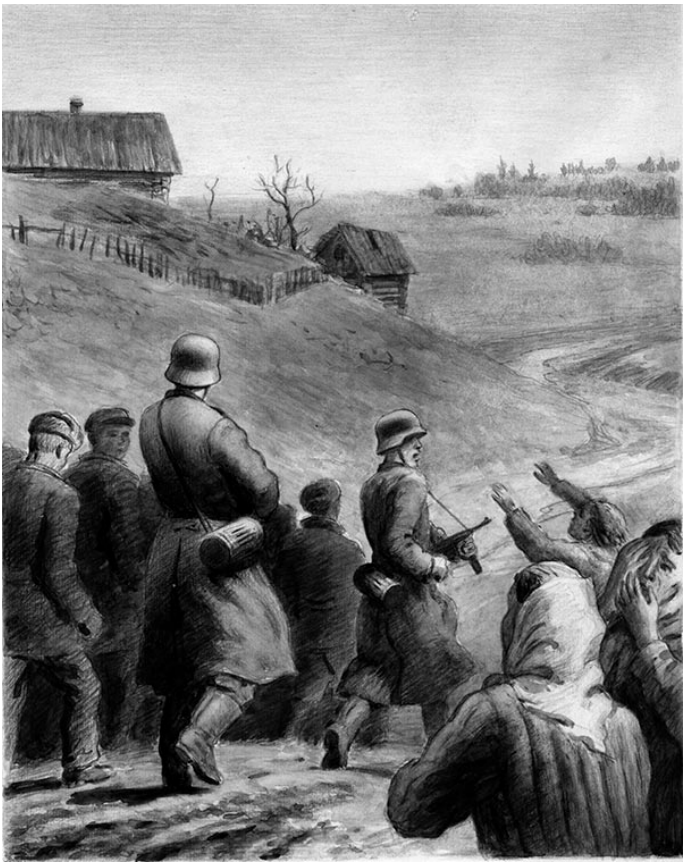
«Сонное царство», — печально усмехнулась мать. Повернула Юрку на бок, поправила одеяло на Борисе, заглянула в чугунок с картошкой. Пусто в чугунке — домоседы поработали на славу. Но есть и не хотелось, какая там еда! После всего увиденного кусок в горле застрянет…

Из ящика, по осени на скорую руку из нестроганых досок сколоченного отцом, вытащила свою юбку. Разложила на столе, прикинула так и этак. Выходило ребятам по штанам. Пусть короткие будут штаны, выше коленок, да ведь теплеет на дворе, длинные без надобности теперь.

Взяла ножницы, вздохнув, надпорола шов. Шитье было прочным, на совесть вещь делалась, не

как-нибудь, и шов поддавался неохотно. Перед самой войной на первомайском митинге матери, как лучшей в колхозе свинарке, вручили премию — отрез черной полушерстяной материи. Поехали они тогда с отцом в районный центр и в мастерской заказали всё, что было нужно: ей — юбку из премиального отреза, отцу — новый костюм-тройку. Юбку сшить успели, даже разок надёвана была: двадцать первого июня, под страшное то воскресенье, ходили они всей семьей кинокартину смотреть, «Семеро смелых». Тогда и вырядилась мать в обнову, на зависть всем бабам; все покроем интересовались, перенять хотели… А отцов заказ так и остался в мастерской — опоздали взять. Теперь, поди, фриц какой в нем щеголяет. Мастерскую, рассказывали знающие люди, начисто немцы разграбили. Пригодился б ныне костюм-тройка — на продукты обменять. Тишка Сумятин, говорят, не брезгует принимать бельишко и одежонку, мукóй и сахарином отплачивает за них. А уж кто ему золотую вещь принесет — кольцо или монету царской чеканки, тот и вовсе обласкан будет. Известно, не своим — награбленным отдаривает. Вот такой он, Тишка, господин Сумятин. Негромкий был до войны, неприметный мужичонка. В колхоз не вступал

и единоличником не числился — ездовым на конной пожарке служил. Мало ли нечисти по заугольям хоронилось… А костюм чего ж жалеть? Тряпка — она и есть тряпка. Жалеть людей надо, каждый день вон головы летят…



Так думала мать, стараясь работой отвлечься от других, более тяжких мыслей. Кроила материю на глазок, вдевала нитку в иглу, и привычно сновала игла в ее руках, ровные, как на машинке, прочерчивала стежки. А мысли все равно были горькие, сколько ни хитрила мать сама с собой, все к одному возвращались. Не вернется отец — ей одной с ребятами оставаться, беду бедовать. Может, и впрямь не солгал Тишка, может, и в самом деле на работу какую определить отца хотят немцы? Так ведь плотник он, другого дела не знает, а топором махать негодящий после тифа. Им-то этого не докажешь, а он, почитай, с того света возвернулся. Из-за этого тифа, будь он неладен, из-за того, что в больнице отца держали, и застряли они в селе, под немцем, не успели уйти.

Было страшно остаться без отца, но ведь и то правда: война — она в первую очередь по мужикам бьет, хотя ни одну вдову этим не утешишь. Еще страшнее ребят потерять. Тут не знаешь, к кому жалости больше, только они-то с отцом уже пожили на белом свете, а те едва глаза раскрыть успели. Когда ребята рядом — не так болит сердце за них: мать что наседка, задерет любого, кто руку на дите подымет. Но когда нет их поблизости, как вон Зойки сегодня с утра, как Валентина, — тут

уж ничем не поможешь им. Да оно и рядом-то — не всегда убережешь. Вот погнали нынче хлопцев в неметчину — прикладами у матерей отбили, мало что стрелять не начали. Зыбко все, неустойчиво…

Мать вздрогнула: кто-то царапнул по двери. Отбросив шитье, нетерпеливо пошла открывать. На пороге, притопывая ногами в красных резиновых опорках, стоял Пантелейка, юродивый. Литая, старинной работы цепь висела на его морщинистой шее, в черных кудрявых волосах торчали кольца древесной стружки, солома, пух. По грязной, нестираной рубахе, по драным штанам — в таком облачении щеголял Пантелейка во все времена года — ползали вши.

Юродивый открыл крошечный слюнявый рот и, обдавая мать дурным запахом гнилых зубов, жалобно запел. Голос у него был высокий до пронзительности и на удивление чистый:

Вот умру я, умру я,

Похоронят меня…

— Тише! Детей побудишь! — яростным шепотом остановила его мать.

Юродивый втянул голову в плечи, виновато заморгал, попятился. Много лет ходил Пантелейка

по улицам села и окрестных деревень и всегда одну и ту же песню пел, и никогда не давали Пантелейке допеть ее до конца.

Мать пошарила в тряпках на печке, развернула полотенце, подала юродивому кусок сковородной пышки — долю отца от завтрака — и, боясь прикоснуться к его рубищу, показала на дверь:

— Ступай, Пантелейка, ступай с богом. Да верига-то снял бы. Поди, мозоли на горбу наколотил уже.

Пантелейка откусил от пышки, ощерил в неживой улыбке крошечный рот, выдохнул смрадно:

— Хгы-ы…

— Ступай, ступай, Пантелей.

— Гнев человека не творит правды божией, — пробормотал юродивый и послушно убрался из землянки.

Дзень-дзень-дзень — звенела на ступеньках Пантелейкина цепь.

Та-та-та — ударило вдруг над селом.

Мать выбежала вслед за юродивым. Пулемет бил от комендатуры, с вышки. Та-та-та — встряхивал он очередями глухую тишину села.

Пантелейка, выгремывая цепью, резво бежал через двор к калитке.

— Вернись! — закричала мать. — Вернись,

убьют!

И бросилась за юродивым, чтобы удержать несчастного, уберечь от нечаянной пули. Но когда оказалась за калиткой, Пантелейка уже далеко был. Высоко подпрыгивая, бежал он по лугу к сожженной мельнице. Дзень-дзень-дзень — вызванивала на его шее тяжелая цепь, и множеством брызг взлетали под красными опорками разбитые лужицы.

— Верни-ись! — кричала мать, припав спиной к калитке.

Пантелейка не слышал или не понимал ее.

А там, за жерновами, на окраине леса, метались две маленькие темные фигурки. Стреляли по ним. Вот одна из фигурок подалась вперед, к селу, и тотчас грязными кляксами запестрел перед ней воздух, и фигурка подкошенно свалилась. Вторая рванулась к ней, упала рядом.

Неужто сразил?

Та-та-та — безостановочно стучал пулемет.

Бежал к сожженной мельнице перепуганный Пантелейка, высоко подбрасывая ноги, и уже не слышно было грохотания его цепи.

Мать стояла, ощущая спиной каждую задоринку, каждый сучок в калитке, с замиранием сердца следила за теми двумя. Широкий луг, еще засне-

женный, с плешинами вязких проталин, лежал между селом и лесом. Пулеметчику на вышке солнце мешало вести прицельный огонь — яркое и в послеобеденный час, оно неприметно скатывалось по небосводу туда, к лесу, слепило глаза.

Долго лежат те, двое. Может, и не живые уже, мертвые, может… Пришили их к земле… Но вот над лежащими заполоскался по ветру белый платок. Пулемет поперхнулся, утих. И в то же мгновение двое рывком поднялись с земли, бросились в лес, под защиту деревьев. Снова зататакал пулемет, но теперь он, распаляясь, бил наугад — тех двоих уже не было видно, лес надежно укрыл их.

— Обманули, — с мстительным удовлетворением сказала мать. — Обманули тебя, поганец.

Струя горячего ветра опахнула ее волосы — пули веером прошили воздух над головой. Мать пригнулась, догадываясь, что пулеметчик перенес огонь на другую цель. И в то же мгновение на взгорке у сожженной мельницы как-то уж очень высоко подпрыгнул юродивый Пантелейка. Нелепо, точно птица подрезанными крыльями, взмахнул он руками, ухватился за цепь на шее, пытаясь снять с себя тяжесть, и ткнулся носом в землю.

Пули с цоканьем бились о потемневшие жернова, крошили их каменные бока.

Мать в ужасе бросилась в землянку.

Юрка сидел на нарах, тер кулаками заспанные глаза. Бабу Нюшу и Борьку пулемет не пробудил.

— Чего это стреляли? — спросил Юрка.

— Кто-то из лесу вышел, — как можно ровнее постаралась ответить мать, но голос у нее дрожал. — Сдается мне, женщины какие-то. Платком махали.

Глаза у Юрки испуганно округлились.

— Попали в них?

— Да вроде нет. Убежали.

— Ура! — завопил Юрка. — Ура! Так им, фрицам, и надо!

— Ты чего радуешься? — Она быстро и крепко схватила его за плечи. — Ты что-то знаешь и молчишь. Ну-ка, смотри мне прямо в глаза, не верти головой. Что ты знаешь, говори! Где Зоя?

— Пусти, больно же, — морщась, попросил он, но взгляда не отвел. — Не знаю я ничего. Радуюсь, не попали ж ведь…

Мать, сомневаясь, покачала головой:

— Смотри у меня. Если обманул — быть битым…

Хотела сказать, что вот, мол, Пантелейка добе-

гался — теперь уже не подымется с сырой земли. У старого окопа прибил убогого немецкий пулеметчик, сорвал на юродивом злость за свою неудачу. И промолчала. Еще не умолк — жил в памяти жалостливый и чистый Пантелейкин голос:

Вот умру я, умру я,
Похоронят меня…

Кто ж его теперь похоронит? К нему и подойти — под пулемет на вышке голову подставить… Погиб человек без роду-племени…

И вдруг мать вспомнила то, что на селе, наверно, давным-давно все забыли: Пантелейка-то старосте, Тишке Сумятину, родным братом доводился. Гнушался господин Сумятин при жизни юродивого такого родства, стороной Пантелейку обходил. Неужто и схоронить брата погнушается?

Вечер

I

И штаны еще были волглые, а свитера и подавно не просохли, но ребятам прискучило в землянке. Ныли, сидя нагишом на нарах: на двор хотим, терпенья нету. Мать сжалилась, вышла снять белье с веревки.

Солнце, завершая извечный путь над селом, упало на лес, на частокол остроконечных верхушек. Как громадный оранжевый мяч, проколотый штыками, оседало и плющилось оно на глазах, и от него, остывающего, — кругами, кругами — по окраине леса, по серому лугу, рябому от проталин, пластался туман.

Перекинув белье на руку, мать задержалась у калитки. Боязливо посмотрела на взгорок, на пепелище мельницы. Покачивались, расплывались в тумане плохо различимые жернова. И там, на окраине леса, где совсем недавно мельтешили, прячась от пулеметных очередей, две человеческие фигурки, слоился вокруг низкорослых кустов туман, ватными клочьями лепился к деревьям, рядя их в причудливые сказочные

одеяния. Но все видимое, что клубилось, дышало, двигалось там, близ леса и в лесу, было неживым, бестелесным было.

«Доест туман последний снег… А когда придут наши, — думала мать, — и зачнем мы пахать землю под хлеб, под лен, под картошку, сколько ж всякого железа наковыряем плугами. Немец-то из пулемета, поди, пуль тыщу выпустил. И бои тут какие осенью были. И еще им быть. Да будет ли прок от такой земли? Родит ли она хлеб-то? Расстреляли ее насквозь, исказнили…»

Она вернулась в землянку, бросила одежку на нары.

— Одевайтесь, — разрешила. — На двор, так и быть, сбегайте, а больше никуда. Поздно уже. И туман. Пальтишки наденьте, а то свитера не высохли.

Мальчишки, радостно визжа, вырывали друг у друга штаны.

— Мои это!

— Вон твои! Мамк, он дерется…

— Да отвернитесь вы, бесстыдники! Вишь, повскакали, — прикрикнула мать.

Баба Нюша топталась у печки — навертывала платок на голову: пора и честь знать, свое логово небось день-деньской пустует, настыло

все, поди, и сколько ни дыши теперь в кулаки — не отогреешь дыханьем-то ни себя, ни жилье… Концы платка не давались ей, уходили из рук, седые космы падали на глаза, на морщинистое, обиженное лицо.

— Оставайся на ночь, сватья, чего уж там, — просительно сказала мать, присаживаясь к столу и снова за шитье берясь. — Нынче у нас до того просторно, что впору волком выть. Жутко одним…

— И то, девка, заночую, пожалуй. Скоротаем время. Я вот и карты прихватила, поворожим на картах.

С проворностью, опасаясь, как бы хозяйка не передумала, скинула баба Нюша с себя платок, села к печке, достала из-за пазухи колоду затрепанных, видавших виды карт.

— Истопить еще — совсем хорошо было б.

— Истопим, сватья… Я вот думаю все, будет наша земля после войны урожаи родить? Измордовали ее всю, огнем испалили…

— И-и, как еще будет-то. Все кормилица в себе растворит — свинец, железо, олово — и жизни новое начало даст. В ней ведь сила какая. Война по нашей земле не впервой проходит, а припомнить если — так ни одна нас не миновала. И

дедов затрагивала, и прадедов. Сколько их было, ворогов, казнили всяко, лютовали. А каждый раз жизнь поднималась наново. От пустыря, от пепелища, от черной печной трубы начинали. И крепко на ноги становились… Да не только о том ты думаешь, чую я, девка.

— Не только…

Ребята наконец разобрались с одежкой, вперегонки выскочили за дверь.

— Живые…

— Пока живые, — раздраженно согласилась мать, понимая, что баба Нюша совсем иной смысл вкладывала в свои слова. Но уж больно тяжко было ей сегодня, так много неизвестного принес нынешний день, что ни к каким разговорам душа не льнула. — Помолчала б, что ли, и ты, сватья, неужто не понимаешь?

Тут дверь с треском растворилась, кубарем, поддерживая руками незастегнутые штаны, вкатился Борька.

— Ой, мамочка! — задыхаясь, кричал он. — Там кто-то страшный у калитки. Сюда идет.

— Дверь закрой, оглашенный.

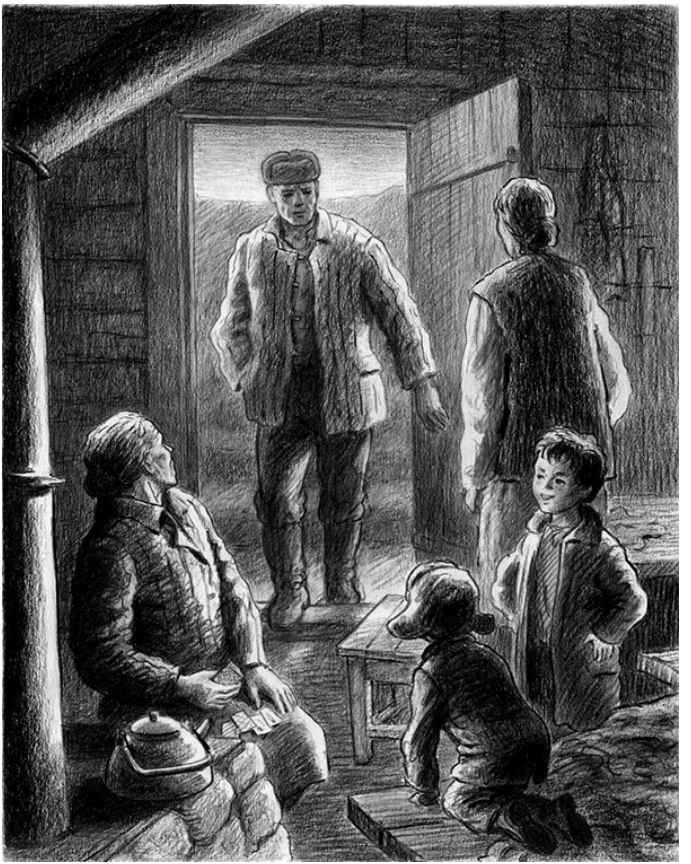
Но Борька вскарабкался на нары, забился в угол, таращил испуганные глазенки на дверь, и ясно было, что никакая сила не заставит его

сдвинуться с места.

Следом за братом вперевалку вошел Юрка. По плутоватой ухмылке на его лице мать поняла, что это он, как водилось, разыграл младшего.

— А я чего знаю, чего знаю…

— Дверь!



Мать ахнула, поднялась из-за стола, выронив шитье, да так и осталась стоять, растерянно и пугливо улыбаясь: увидела отца. Он стоял на пороге, в полутьме, заполонившей землянку, белый, как привидение; похоже было, что клочья уличного тумана облепили его с ног до головы, вцепились в телогрейку, в брюки, в шапку.

— Свят, свят… рассыпься, — торопливо закрестилась баба Нюша.

— Засвети каганец, мать.

— Живой! Хоть один возвернулся…

Он прикрыл за собой дверь, ни слова не говоря больше, прохромал за печку, нагнулся под нары. Там хранился его плотницкий инструмент. Отец долго шуршал пергаментной бумагой — разворачивал пакет с гвоздями — и снова вернулся к двери, с молотком в руке.

Баба Нюша завороженно и неверяще следила за каждым его движением.

Набросив на оконце старый платок, мать запалила коптилку — нитяной фитиль в жестяной плошке. Скудный огонек закачался на срезе фитиля, и сразу сгустилась темень в углах, и — по движению огонька — стало видно, как много сквозняков гуляет в землянке.

— Посвети, — приказал отец.

Юрка взял у матери коптилку, подошел с ней к отцу, и тот, наклонясь, в несколько точных, коротких ударов молотком вогнал гвозди в поперечину на двери. При каждом ударе, каждом взмахе молотка белое облачко поднималось над отцом и, медленно кружась, снова сыпалось на него, на пол. Теперь, в чадном свете коптилки, всем стало видно, что никакой это не туман, а обыкновенная мучная пыль пропитала одежду отца.

Закончив прибивать поперечину, он тщательно прибрал инструмент, подошел к столу, сдвинул на уголок шитье, сунул руки в карманы. Стоял, опустив лобастую голову, узко сведя плечи, и угрюмо цедил слова:

— Хозяевать надумали фрицы. Крестьянствовать. Мельницу новую открыли, и где — в клубе колхозном! Движок привезли, жернова. Чтоб, значит, на месте хлеб для своего вшивого воинства выпекать. А меня... — качнулся с носка на пятку, сглотнул слюну, договорил тихо, — меня старшим мельником назначили. Качевского к движку приставили, а меня в мельники. Тишка Сумятин присоветовал им. Вспомнил гад, что на колхозном ветряке я сезон отработал, с жерновами дело имел.

Рывком вывернул карманы, сыпанул на стол две пригоршни муки:

— Вот, хлеб принес. Хлеб, видите?

И, обведя всех одичалыми глазами, закричал:

— Чего ж вы молчите? Чего не радуетесь? Пойте, пляшите, прыгайте, ведь я хлеб вам принес, хлеб, хлеб!..

— Ура! — завопил Борька, подпрыгивая на нарах и хлопая в ладоши. — Ура! Мамка пышек напечет, блинчиков…

— Так, сынок, так. Умница — одобряешь батьку. Вот он, хлебец, вот она, мучка. Прыгайте, пляшите, радуйтесь…

— Ма, пеки блины скорее. Мы лопать хотим, — прыгал на нарах Борька.

Мать легонько дернула его за ухо: «Замолчи, дурачок, ничего не понимаешь», — и Борис поперхнулся криком, сник.

— Как же теперь быть-то? — спросила мать, не глядя на отца. — Служить им придется? Да ты бы объяснил, что хворый, неспособный к работе.

Отец уперся руками в столешницу, с удивлением и брезгливостью, словно впервые увидел, поглядел на жалкую кучку муки. Сказал виновато:

— Не сумел больше-то. Весь день над душой

фриц с автоматом торчал. Я по нужде отойду, и он, поганец, за мною.

— Служить придется им, — растерянно повторила мать. — Ты бы объяснил…

— Объясни, если ты такая умная… Они мне как раз сами объяснили: кулаком по скуле и прикладом по затылку.

Поднялась с табурета баба Нюша, бесстрашно подошла к отцу.

— Стой ты, парень, ради бога. Хватит кипеть-то.

И гусиным крылышком — осторожно, с бережностью — принялась сбивать с его одежды мучную пыль. В одной руке крылышко держала, а другую подставила ковшиком, и белая пыль стекала в этот ковшик, струилась возле него, а баба Нюша, пританцовывая вокруг отца, суетливо и примирительно наговаривала:

— Вот он, живой хлебушек… Хлебушек-то — вот он. Слава те господи, теперь сыты будем. Почитай, пригоршня набралась. Возле хлеба быть да не прокормиться…

Выплеснула на стол из ковшика-пригоршни, строго оглядела всех:

— Возле хлеба никакая работа не грешна.

И опять принялась обмахивать отца. Он стоял

с терпеливой покорностью, ждал, пока закончит баба Нюша работу. А мать, понимая, что творится у него на душе, в мыслях кляла себя за то, что уговорила остаться на ночлег болтливую старуху, балаболку пустую. Вот-вот снова взорвется отец, разразится бранью. Но отец только вздохнул, высказался неопределенно:

— Эх, дуры-бабы…

Снял с себя телогрейку, бросил на нары, сел к столу.

— А Зойка где? Чего это я ее не вижу?

— С утра ушла — и всё нету, — отозвалась мать. — Ума не приложу, где запропасть могла.

— Что ж ты молчала? Я раздеваться б не стал…

— Придет, — подал голос Юрка, сочувственно глядя на отца.

— А тебя не спрашивают.

Отец достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, свертывая самокрутку.

— Придет, она такая, Зойка-то, ничего с ней не будет, — упрямо повторил Юрка.

Отец не услышал его, и мальчишка, обиженно сопя, полез на нары, поближе к брату.

— И про Валентина слух нехороший…

Мать присела к ребятам, сложила руки на коленях. Она не смотрела на отца, избегала его

взгляда, и отец не смотрел на нее — сосредоточась, из кисета в бумажную закрутку махорку ссыпал.

— Ты про обоз-то ничего не слыхал? Может…

Прикурив от коптилки, отец пыхнул дымком, надолго закашлялся.

— Наглотался половы, — пожаловался, сплевывая. — Ты, мать, давай рассказывай. Все как есть рассказывай, без утайки…

II

— И не думай! Не пущу! Да ты в своем уме? Комендантский час ведь, дуриком пристрелят.

Мать взволновалась, видя, как отец с молчаливой угрюмостью натягивает телогрейку, как снова пригибается к нарам, достает из-под них остро отточенный плотницкий свой топор. Она сразу смекнула, что́ он затеял, и сейчас, исполнясь решимости, готова была встать у двери, раскинуть руки, закрыть ее своим телом, но не выпустить отца из землянки. Довольно, хватит с нее, истомилась за день, настрадалась в одиночку.

— Зойка, дуреха, поди, заболталась у подружки какой, вот и припозднилась, и осталась на ночлег, чтобы не тащиться по селу в неурочное время.

Развиднеется поутру — она и придет, и тогда надо будет задать ей добрую трепку, чтоб неповадно было в другой раз, — не веря собственным словам, убеждала она отца.

Он упрятал топор за пояс, под телогрейку, насупясь, проворчал что-то невнятное, из чего можно было заключить, что не такой он дурак — зазря голову под пули ставить, что пойдет осторожно, вдоль стен, ощупкой, на патруль не нарвется. Патруль-то немецкий села так не знает, как он, рожак здешний. И подружек Зойкиных наперечет он помнит, а Зойку найти непременно надо, иначе какой же это сон у них будет, какое спокойствие.

— Да я что, не понимаю разве, что надо? — в отчаянии возразила мать. — Так ведь где ж ее найдешь? Глухой ты после тифа и видишь плохо. Как раз налетишь на немцев. И топор-то, топор зачем? Нет уж, сиди дома, лучше я пойду.

За шумом, за перепалкой не заметили они, как и когда вошел в землянку Тишка Сумятин. Будто толкнул их кто — обернулись, а он стоит на пороге, мнет шапку в руках. Ну прямо из-под земли вырос. Давно ли стоит, нет ли — кто ж его знает. Слыхал, видать, все. Может, и то видел, как отец топор под телогрейку прятал…

— Воюете? — грустно поинтересовался Тишка, без приглашения проходя к столу и опускаясь на табурет. — Кругом война — и у вас тоже. Издаля шум слыхать. Шел я мимо, вот и подумал: не легли еще, коль гомонятся, дай-ка, мол, зайду. И огольцы не спят, — укоризненно кивнул он в сторону мальчишек.

Ребята, упершись пятками в стену, лежали на животах и со страхом смотрели на Сумятина.

Отец и мать, застигнутые врасплох, молчали в замешательстве, не зная, с чем еще припожаловал староста. Хватило б на один-то день и утреннего его прихода.

— Вот какое дело… Пантелея-то, брата моего, застрелили. Слыхали, небось? По ошибке застрелили, ненароком.

Сумятин шмыгнул носом, забыв закрыть рот, нижняя челюсть у него отвисла, и мать поразилась тому, что рот у Тишки — такой же крохотный, как и у покойного Пантелея, и такой же слюнявый, набитый гнилыми зубами. И очень в эту минуту походил Тишка на своего брата: того и жди, ощерится сейчас в неживой ухмылке и скажет «хгы-ы» или запоет: «Вот умру я, умру я…»

На землистые щеки Сумятина легла тень, голос его был тих и печален, даже как-то по-торже-

ственному просветлен.

— Убили Пантелейку. Сто сёл и деревень знали его в округе, а теперь вот отмаялась душа безвинная, хрестьянская. Грехов на ней не было, в рай душа пойдет.

Баба Нюша при этих словах медленно перекрестилась, глухие сумерки спустились на ее морщинистое лицо.

Сумятин кротко взглянул на отца.

— Попросить я тебя пришел об одном одолжении. Помоги мне утром тело поднять да похоронить, как того обычай требует. И гроб сколоти. Заплачу́ я.

Что-то мимолетно ударило по стеклу — будто камешек маленький кто швырнул. Все вздрогнули, подняли головы, уставились на занавешенное оконце. Но там, на улице, над крышей землянки, снова стало тихо и спокойно.

— Ветер, — предположила мать.

— Покойный за себя просит, душенька его в окошко стучится, хлопочет, — уверенно высказалась баба Нюша, поднимая руку для креста.

От этих ее слов всем стало не по себе. Сумятин потупил взгляд в землю, рассматривал носки своих белых, обшитых кожей валяных сапог. Мать зябко передернула плечами. Мальчишки полез-

ли под одеяла, Борька — тот укрылся с головой. Лишь отец насмешливо гмыкнул.

— Так как же, сговорились? — не меняя позы, спросил Сумятин.

Отец прислонился к стене, сдернул шапку с головы, положил ее на печку. Наголо бритый, ссутулившийся, выглядел он старше своего возраста лет на двадцать. «Старик стариком, — подумала мать. — А ведь сорок только стукнуло, двух недель не прошло. Доконал его нынешний день…»

— Чего молчишь-то, а? — напомнил староста.

— А чего ж язык полоскать попусту? Не туда ты пришел, Тихон Евсеич.

— Это как понимать? Я тебя по-человечески прошу.

— По-человечески?

Отец схватился за кисет, но самокрутку вертеть не стал: руки у него дрожали, как и в тот утренний час, когда староста пришел в землянку с немецким солдатом.

— По-человечески, стал быть, и работенку ты мне удружил? Не принял во внимание, что больной человек я, что не по силам мне работа такая… И хоронить не по силам. И гроб сколачивать. Поищи кого поздоровей.

«Понесло мужика, — не на шутку испугалась мать. — Да что это он, Тишку не знает? Ой, бестолковый! Помягче надо, не играть с огнем».

Она зашла за спину Сумятина, отчаянно замахала руками. Две огромные тени заметались по стенам землянки, и староста поднял голову и наверняка увидел их, но не подал виду.

— Пусть тебе эти злыдни зеленые помогают, дружки твои сердечные, — распалясь, перешел на крик отец.

— Та-ак…

Сумятин переложил шапку из правой руки в левую, пятерней мазнул себя по дряблым щекам, стирая с них землистость и всякую похожесть на покойного брата, и тотчас румянцем выкрасило его лицо, от носа к уголкам рта пробежали прямые, твердые линии.

— За работу на мельнице еще благодарить меня будешь, в ноги упадешь. Вон мука-то на столе — не купленная. Да за какие шиши укупишь ее ныне?.. А промежду протчим, спросить я обязан: дочь-то ваша игде? Ноне вот, к примеру, цельную колонну юношев в Германию отослали. Завтра-послезавтра девок собирать будем. К спискам я в первую голову причастен…

— Да пошутил он, отец-то. Поможет, как не

помочь, дело житейское, — выступила вперед мать.

— Подите вы все к…

Отец дернул за шнур кисета — оборвал шнур. Махорка усыпала пол.

— Эх, — досадливо крякнул отец.

Тут что-то снова ударило по стеклу, посильнее уже. Сумятин повернулся к окошку, говорил, не сводя подозрительного взгляда со старого платка на нем. Жестко, с нажимом говорил:

— Дочь-то, Зойку, игде укрываете? Еще нонесь утром видал я ее, а сейчас нет. И солдат, что со мной приходил, тоже видал. Подтвердит при случае.

Мать, обойдя старосту и отца, тихо вышла за дверь. Пробыла она на улице недолго, а вернулась раскрасневшаяся, возбужденная.

— Никто ее не укрывает, господин Сумятин, и в мыслях такого не было. У подружек она заночевала.

— Нарушение… Потому как военное время, и приказ господин комендант издали…

Но мать не дала договорить старосте — достала из-за пазухи мокрый ершистый клубок, опустила его на пол. Клубок пропищал «мяу», стал на лапки и оказался живым, всамделишным котен-

ком. Шерсть на нем слиплась, хвост напоминал размочаленную в воде бечевку. Фыркнув, котенок взгорбил спину и, оставив на полу хлипкую лужицу, важно и независимо подошел к отцу, потерся о его ноги.

— Гляди-ка, хозяина учуял, — тщетно стараясь укрыть веселость в голосе, изумилась мать. — Выглянула я это на двор, а он, бедненький, тычется и тычется в окошко и плачет. Ну чисто ребенок. Жалобно так. Приблудный, видать, от дома отбился. А умный, гляди-ка, все понимает.

При этих словах она незаметно толкнула отца локтем.

— Киса-киса-киса, — звал Юрка, свесив с нар босые ноги. Борис тоже высунул нос из-под одеяла.

— Мамк, он голодный, лопать хочет.

— Что-нибудь придумаем, зазря помереть не дадим, — с той же веселостью откликнулась мать и снова, будто невзначай, задела отца локтем.

— По нынешним временам только и обзаводиться кошками-собаками, — ревниво проворчала баба Нюша.

— Всякая скотина жить хочет, ничего не попишешь. Так я говорю, Тихон Евсеич?

Мать шарила на печке, тщетно выискивая какой-нибудь завалящий кусочек хлеба. А котенок

— шерсть на нем быстро подсыхала, распрямлялась, и теперь было видно, что он дымчатый, что красавец, — все терся и терся об отцовы ноги и мурлыкал все громче, настойчивей.

— Кис-кис-кис, — безуспешно пытались заманить его к себе, на нары, мальчишки.

Сумятин надвинул шапку на глаза, мрачно повторил сказанное матерью:

— Истинно, всякая тварь жизнью дорожит, даже самая никчемная. А Пантелею вот не посветило… Так как же будем-то, а?

Отец, наклонясь, щекотал котенка за ухом. Мягчея голосом, успокоил:

— Ладно, староста, погорячился я. Похороним Пантелея Евсеича. Он-то ни в чем не виноват, нет на нем грехов.

Выпрямился, примериваясь к Сумятину взглядом.

— И мерку сымать с него не будем. Гроб на тебя сколочу, а? Одинаковые вы ростом. Мать, где это метр-то мой запропастился, линейка где? Прикинем пока начерно…

— Ладно, на ночь-то глядя, — попятился к выходу Сумятин, но у порога задержался. — Ох и занозистый ты мужик. А я зла тебе не хочу, да ведь вынуждаешь. Языкатый больно. Бабе своей

спасибо скажи, деликатность в ней…

Мать усмехнулась:

— Да хватит вам, в самом деле. Чисто два кочета. Мальчишек постеснялись бы.

А староста, как назло, не торопился уходить — то ли высказал не все, то ли дожидался чего-то.

— Зойке своей закажите, чтоб попусту до позднего часа не шлындала где ни попадя. Чтоб дорогу домой знала и носу из землянки не высовывала, — многозначительно поднял он палец и ногой толкнул дверь.

— Провожу тебя, Тихон Евсеич, — поспешила за ним мать. — Не ровен час, споткнешься на ступеньках — огнем-то посветить нельзя. И калитку заодно притворю на ночь.

Они вышли наружу, о чем-то громко переговариваясь, а когда их голоса отдалились, в землянку вихрем влетела Зоя. Чмокнула в щетинистую щеку оторопевшего отца, легонько стукнула по макушкам братьев.

— Вот она и я! Ух, голодная…

— Я же вам говорил, что придет! Что сама придет! — завопил Юрка, спрыгивая на пол и бросаясь к сестре. — Зой, нашла Вальку, а? Ты чего одна, Зой?

III

Отец упрямился:

— Так я вам и поверил, что котенок в окно стучит. Нашли дурака.

Огонек с хрустом доедал аршинную самокрутку в его руках, сизый дым слоями плавал над столом, закручиваясь в столбик, подымался к потолку и, опадая, нехотя уползал к порогу.

— И Тишка небось не поверил. То-то медлил уходить. Только прикинулся непонимающим — положение у него безвыходное.

— Уж кто бестолковый — так это ты, не Тишка, — посетовала мать. — Толкаю я тебя, толкаю, дескать, хватит молоть-то, всю дурь свою обнародовал. Нет, не доходит, гнет свое и гнет. Да смолить-то перестань. Чадишь и чадишь, а утром головы у всех раскалываются.

Он не обратил внимание на ее слова, только затянулся глубже. Сейчас, после ухода Сумятина, после того, как Зоя вернулась домой, отец непривычно разговорчив. «Эк разболтался, смотри, какой речистый», — про себя дивилась мать.

Все у стола сидели, всем не терпелось услышать, что с Зоей за нынешний день приключилось. Лишь Борьку сморила усталость, спал, свернув-

шись калачиком под одеялом. В ногах у него — неприметный серый клубок — дремал котенок. Да баба Нюша жалась к холодной печке, подпирала ее иззябшей спиной.

Зоя куталась в вязаную материнскую кофту, ноги ее утопали в валяных отцовых сапогах, но щеками раскраснелась и важность на себя напускала, потому что знала больше других.

— Пришла я утром к Беловым, а они говорят, что обоз партизаны разгромили, что наши тоже убитые и раненые есть. Думаю, там же Валька, с обозом тем. И Нинка там. Думаю, не буду своих расстраивать, узнаю, как оно есть на самом деле. Долго ли до Пречистого добежать? Лесом дорога да оврагами. Ну и пошла…

Она подмигнула Юрке — брат сидел напротив, и нетерпением горели его глаза, он все порывался что-то сказать, но Зоя так частила словами — клинышка не вобьешь. А тут еще и головой покачала — Юрка потупился, прикусил язык.

— До Пречистого идти не пришлось, повезло: Нинку в лесу повстречала. Испугалась я: одна идет, едва ноги тащит. Все, думаю, капут Вальке, убили. А она меня увидала да как заревет. И я заплакала. Обнялись и ревем, заливаемся, как две дуры. «Ой, — Нинка-то говорит, — напугалась я,

Зойка. Так-то страшно стреляли, так стреляли…»

Отец сердито застучал костяшками пальцев по столу, передразнил:

— Нинка говорит… Зойка говорит… Трещишь, как сорока, и все вокруг да около. Ты главное скажи. Про Валентина.

Зоя понизила голос до шепота:

— Вот и главное: спрашиваю Нинку, где Валентин наш, почему одна идешь? А она ревет и двух слов не свяжет. И я реву. А потом говорит, что Валентин с другими парнями побежал вслед за партизанами. Только и крикнул ей, что домой не вернется. Немцев там много побило, а наших никого не зацепило вовсе. Наши, как стрелять начали, сразу на землю попáдали, вот! — закончила она с торжеством.

— А я знал, я знал, мне Зоя утром еще сказала, куда пойдет! — закричал Юрка, но глядел при этом куда-то в сторону, мимо матери. — Только заказала вам ничего не говорить. Если, велела, до утра не вернусь, тогда говори.

Мать сокрушенно покачала головой:

— Кругом обвели. А что у матери сердце на части разрывается — вам и дела нет. Вам наплевать. Ну, Зойка, ну, девка!.. А ведь, останься ты дома, я сама пошла бы туда, к Пречистому… Стреляли-то

по вас, что ли?

— В нас стреляли. Только мы из лесу — он из пулемета. Мы опять в лес. До темноты сидели, окоченели все. Там и котенка подобрала, шастал голодный.

— Вот если бы не промахнулся…

Отец, послюнив палец, пригасил окурок, швырнул его в печку и принялся лепить новую самокрутку.

— Если бы да кабы да росли во рту грибы, — ворчливо перебил он мать. — Жива — и всё тут. А Валька, стал быть, за партизанами вдогон навострился?

— Ну, я же говорю. Крикнул, что не вернется.

Мать вздохнула:

— Господи, из огня да в полымя попасть может. Вдруг не сыщет их, партизан-то, что тогда?

Баба Нюша, давно уже клевавшая носом, подняла голову:

— Хуже не будет, авось не один побёг — с парнями. Не пропадут. А не соврали карты, девка, правду сказали.

Помолчала, к чему-то прислушиваясь.

— Слышь-ка, девка, комар. Зудит и зудит над ухом, окаянный. — И зябко поежилась: — Истопить бы сейчас…

— Какой сейчас комар? Пригрезилось тебе. А топить припозднились мы, — виновато оправдывалась мать. — Солома — она какая: затопишь — искры из трубы столбом полетят.

— Зудит комар, девка.

— И я слышу, — сказал Юрка.

Все замолчали, и точно — землянку наполнило тонкое комариное гудение, будто б невидимая стая мошкары вилась под ее бревенчатой крышей. Только отец по глухоте своей и всегдашнему неверию не расслышал ничего, усмехнулся:

— Ветер в трубе, а вы наговорите.

— Откуда комару быть? Не лето, чай.

— А мельницу ихнюю я спалю.

— Батюшки! — всплеснула мать руками. — Что за семейка! Еще один поджигатель сыскался. Днем ребята тарахтелку Альбертову чуть не сожгли, теперь ты. Они-то ладно, по глупости…

— Спалю, — упрямо повторил отец. — Не стану я на них работать, против своих идти… Валька — он молодец. Мне бы его силу и здоровье.

Комариное гудение переросло в низкий, протяжный вой. Он прокатился над крышей, разбудил котенка, и тот, мяукнув, сиганул под нары. В землянку сквозь завешенное платком оконце вошел белый, неживой рассвет, и никчемным,

чахлым сделался огонек коптилки. Никто не вышел из-за стола, но мать увидела, как напрягся отец, как втянул голову в плечи Юрка, как Зоя закрыла лицо руками и каким — из желтого, пергаментного — мертвенно-синим стало лицо у бабы Нюши.

— Самолеты. Наши, — догадался отец. Говорил он почему-то шепотом. — Фонарей навешали, на парашютах. Сейчас бомбить зачнут… Вот сейчас зачнут.

Загрохотали взрывы, не очень сильные. Бомбы падали в центр села, туда, где размещались комендатура, штаб гарнизона, где стояли танки и батарея зенитных пушек.

— Знают, что делают, — вслух одобрил отец. — Без толку не швыряют.

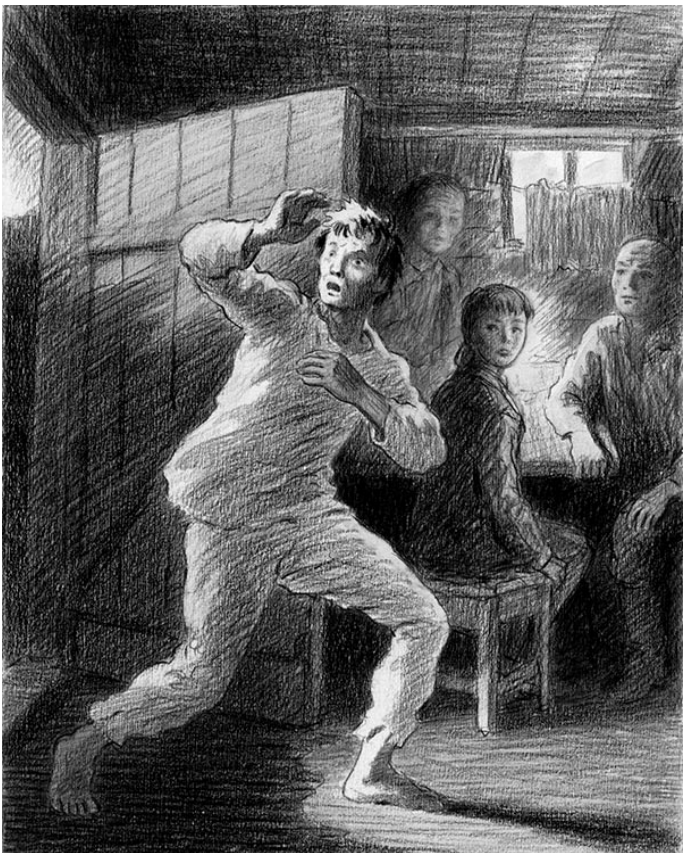
Вдруг землянку встряхнуло, приподняло. Со стен, с крыши посыпался сухой песок, зазвенело стекло в окошке. Мать с силой толкнула Юрку под стол и упала на нары, прикрыла собой Бориску.

— Прячьтесь, — закричала она, — прячьтесь!

— Мама, мамочка, страшно! Они меня убьют, — надрывался Борька.

Снова приподняло землянку. Сама собой распахнулась дверь — не наружу, внутрь. Тугая волна жаркого воздуха и едкого дыма прошлась

из угла в угол. На пороге в холодном, леденящем душу свете возникла белая фигура. Нелепо махала руками, беззвучно, по-рыбьи, разевала рот. Фигура оказалась Альбертом, немцем. В нижней рубахе, в кальсонах, босиком прибежал он в землянку искать спасения от бомб. Ни слова нельзя было разобрать из того, что он кричал, но глаза у Альберта, как у загнанной лошади, казалось, вот-вот выскочат из орбит.



Новый взрыв поблизости вытолкнул немца на улицу.

Медленно угасали подвешенные к небу фонари, темень снова приходила в землянку. Отец выглянул за дверь, затем поплотнее прикрыл ее, задвинул щеколду.

— Изба-то наша ничего, уцелела. Думал, вдребезги — тряхнуло вон как… А на горе пожар, мельтешат фрицы, орут.

Он прошел к столу, принялся шарить по нему руками, разыскивая коптилку.

— Вот, дьявол, всё масло разлили. Юрка, вылазь из-под стола, отбой. — И нервно засмеялся: — Земли-то в голове — хоть горох сей. Ты где, мать? Поди, душа в пятки ушла, а? Как это ты: «Прячьтесь, прячьтесь»!.. А куда прятаться — подумала? Всем тут одна могила могла быть.

— Прямо светопреставление… Супостат-то, окаянный этот, чего прибегал? — еле слышно спросила баба Нюша.

— Того и прибегал. С перепугу, дрожь проняла. Голову на отруб, по сию пору в кустах отсиживается.

— Вот и наши знак нам подали: надейтесь, мол, — сказала мать, встряхивая в темноте одеяло.

Шурша, ссыпался с него песок. Всхлипывал, уткнув нос в подушку, Борька — никак не мог оправиться от пережитого страха.

— Подали…

И отец снова зашелестел бумагой, свертывая самокрутку. Ударил кресалом по кремню, выбил сноп искр, вкусно затянулся. Выскочил из-под нар и прижался к его ноге котенок, замурлыкал.

— Вишь, животное, тоже пережил. Ну и денек нынче выдался — не припомню таких. Всем лиха досталось, а всему — будь он проклят! — фашист виной. Однако и ему перцу всыпали, пусть знает наших! И так я скажу, — с веселой злостью в голосе говорил отец, — не зря наши штаб и пушки бомбили. Быть скоро великому наступлению. Грядет день…

— Пасха скоро, светлое воскресенье, — некстати напомнила баба Нюша.

Борька наконец утихомирился. Мать укрыла его одеялом и устало вздохнула:

— Наши придут — вот и Пасха. Другой нам не надо. А сейчас спать давайте.

— Теперь уже скоро придут. Не заждемся…

— Дай-то Бог!

— Бог-то Бог, да сам не будь плох, — дымя самокруткой, ворчливо перебил отец бабу Ню-

шу. — Стратегия — она не у Бога за пазухой. В голове у красных командиров она.

— А я не супротив, пусть по-твоему, — вдруг легко, согласилась баба Нюша и умолкла. Задремала, видать.

Плавал в слепой землянке колючий махорочный дым, мешался с сыростью и прелью. Мать подталкивала Юрку к постели:

— Засиделся. Ну-ка, ложись спать, диверсант ты мой неуемный.

Юрка прихватил по пути котенка, потащил под одеяло. Котенок с писком и мяуканьем вырвался, снова метнулся к отцу, ища у него защиты. Юрка подул на оцарапанные руки и, укладываясь, неожиданно громко сказал:

— А я и не испугался вовсе, когда бомбили. Вот вырасту — тоже летчиком буду. Я им, фрицам, еще не такого перцу задам!

— Придут наши — будешь кем захочешь. Вырасти сперва, выучись. А сейчас спи, спи, несчастье мое. Дай я тебя поцелую, и спи.

— Весна, ручьи бегут, — глухо бубнил отец, докуривая самокрутку. — По прежним временам, стал быть, скоро в поле выезжать надобно, землю пахать. Заждалась земля работников…

Он никак не мог успокоиться и, вопреки обык-

новению, говорил много и долго. Довоенную жизнь вспоминал, колхоз. Как по весне, бывало, подымали поле — артелью, сообща, из каждого двора по мужику, по два выходили, никак не меньше; богатое было народом село, и трудодень ценился. Как — помнишь, мать? — Зоя обед ему на пашню понесла, и Юрка за сестрой увязался, а по дороге возьми да приотстань, да пропади из глаз. Дочь зареванная прилетела: волки братца слопали! «Какие волки, что ты мелешь?» — рассердился отец, но вывел коня из плуга, охлюпкой, без седла поскакал на розыск. Юрку издали углядел: обочь дороги в канаве обретался — из камней и щепок на пути у вешнего ручейка плотину городил. Вымок насквозь, до нитки, в глине вывозился…

— Примчал ты его тогда на коне-то — перепугалась я: простудится, захворает малый. Баню ему горячую устроила, в горчице парила, так ничего — обошлось, — подхватила мать. — За год до войны и случилось…

Ей приятно и даже радостно вспомнить о прошлом, таком — посмотреть издали — безмятежном и светлом. Отступала, уходила понемногу злая боль, добрая надежда вселялась в сердце. И, благодарная отцу за теплое к себе участие, мать

тихо промолвила:

— Дождемся… Подрастут сыны — вчетвером в поле выходить станете. Четыре мужика из одного двора. Любую пашню осилите… То-то мне провожать, а людям смотреть на вас радостно будет.



От автора

Обязанность дежурного секретаря в редакции — готовить к выпуску очередной номер газеты. Этим и был я занят 12 апреля 1961 года: вычитывал и правил статьи, чертил макеты. Вдруг прибежал товарищ — кричит:

— Включай радио!

Едва повернул рычажок в динамике — услышал ликующий голос диктора: «Пилотом-космонавтом космического корабля спутника „Восток“ является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич…»

Событие сногсшибательное, ошеломляющее. И хотя мы ждали его со дня на день, все равно сообщение о нем взволновало и потрясло нас. А тут следом телефонный звонок:

— А ведь Юра-то наш, из нашей части!

Дело в том, что редакция, в которой нес я в тот день вахтенную службу, была редакцией газеты Северного флота «На страже Заполярья». И звонили мне добрые знакомые из части, прославившейся своими подвигами в годы Великой

Отечественной войны.

Я не мешкая выехал в часть и все, что услышал от летчиков о Юрии Алексеевиче, записал в блокнот. Сделал это, еще не думая, что мне придется писать о космонавте, — скорее, в силу обыкновенной журналистской привычки сделал, так, на всякий случай.

Минули годы, и записи эти очень пригодились нам с Валентином Алексеевичем Гагариным, когда мы работали над книгой «Мой брат Юрий». К тому времени мне, выпускнику Литературного института имени А. М. Горького, посчастливилось не единожды видеть и слышать Юрия Алексеевича, близко познакомиться с его родными.

Анна Тимофеевна и Алексей Иванович, родители космонавта, часто вспоминали о том, как их семья пережила войну. Все Гагарины, даже дети, люто ненавидели гитлеровцев и как умели сопротивлялись им… Вот эти воспоминания и легли в основу повести «Землянка», рассказывающей об одном дне из жизни Гагариных.

До прихода Красной Армии в село оставалось еще одиннадцать месяцев. Триста тридцать дней. И не каждый из этих дней завершится так благополучно, как тот, о котором рассказано. Прав

окажется староста Сумятин: Зою вместе с другими девчатами погонят в Германию. Лишь много позже родители узнают, что в дороге ей удастся бежать, что она пробьется к частям наступающей Красной Армии и встретит победу солдатом… Долго не будет вестей от Валентина. Только в сорок третьем, летом, пришлет он фронтовой треугольник: «Жив-здоров, воюю башенным стрелком на Т-34, бью фашистскую нечисть…» А отец сдержит свое слово и спалит ненавистную ему мельницу. И едва не поплатится за это жизнью. Случайность убережет его…

Так, непокоренной, жила во время Великой Отечественной войны семья Гагариных. Так жили тысячи и тысячи советских семей, оказавшихся на временно оккупированной гитлеровцами нашей территории.

И еще… Мои сверстники по праву гордятся тем, что принадлежат к поколению Гагарина. Мне было и легко, и трудно писать эту повесть. Легко — потому, что приметы войны мне ведомы не понаслышке: наша семья тоже пережила и бараки фашистского концлагеря, и потаенный быт партизанских землянок. Трудно же потому, что память о тех немыслимо тяжких годах до сих пор бередит душу. Давно став взрослыми, мои ровесники не хотят повторения войны ни для детей, ни для внуков.

Валентин САФОНОВ

